

Р177041

В. Н. Дурбилин

РУССКИЕ  
писатели  
В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ  
ВОЙНЕ

1812

года



советский писатель

1943

С. Н. ДУРЫЛИН

РУССКИЕ  
писатели  
В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ  
ВОЙНЕ  
1812  
года

1707/11



советский писатель  
москва - 1943

20

8(с)р  
Д-84.

+ 355.48 + 96.15



## I



а наша борьба за родину, за ее свободу и независимость, за счастливое будущее нашей страны, за широкое, могучее развитие советской культуры, наша упорная и беспощадная борьба с врагом, пытающимся погнать эту свободу, уничтожить эту независимость, лишит нашу страну будущего, свергнув ее народы в безысходное рабство,— наша общая, объединившая всех, борьба с врагом, с гитлеровской Германией, объемлется, во всем своем величии и силе, двумя словами: **Отечественная война.**

Эти два слова вполне выражают и задачу войны — защиту отечества, и ее объем — в обороне отечества участвуют не одни армии, а весь народ, и ее силу — в подвиг отечественной войны, как в величайший из всех подвигов, возможных для народа, дорожающего своим историческим бытием, народ вкладывает весь неисчерпаемый запас своих сил.

В истории насчитывается бесчисленное количество войн, иногда весьма длительных и кровопролитных, но в той же истории мы найдем лишь самое небольшое число войн, которые имели бы право на почетное название: **Отечественной войны.**

В русской истории можно указать еще только на одну войну, которая, подобно войне 1941—1942 года, носит название: **Отечественной.** Это — война России с Наполеоном в 1812 году.

Это имя дал ей сам народ — истинный победитель Наполеона, и его должны были принять историки, как имя, подобающее великому подвигу, совершенному русским народом в 1812 году.

Как Наполеону в 1812 году, так Гитлеру в 1941—1942 годах пришлось узнать, чем отличается Отечественная война от обыкновенной войны, каких так много в истории.

Не имея ни одного из талантов французского императора, его жалкий немецкий имитатор повторил ошибки его политических расчетов и военных деклараций и вызвал в 1941 году то, что вызвал на свою гибель Наполеон в 1812 году: Отечественную войну, в которой не только армия обороняющаяся противостоит армии вторгнувшейся, а в которой народ, весь народ в целом, обороняет свою жизнь, честь и свободу от вторгнувшейся армии насильника.

Как сто двадцать девять лет назад первые шаги завоевателя на русской земле подняли в ней бурю партизанского движения, так первые же немецкие танки, потоптавшие советские пивы и луга, подняли в тылу завоевателя грозу партизанщины.

Грозные картины народного отпора врагу — отпора ружьем и огнем, уничтожением собственного достояния, угоном скота, переселением целых округов, быстролетными нападениями партизан, — суровые картины народной войны, правдиво нарисованные писателями — участниками войны 1812 года: С. Глинкою, Д. Давыдовым, Жуковским, Лажечниковым. — воскресли вновь с небывалой силой.

На глас: к войне! — все бросили жилища.  
Вступя в пределы их, как волк на хитрый лов,  
Ты раздраженных львов  
Коснулся логовища.  
Шаг каждый там тебе явил ужасный бой.  
Там каждый селянин сразился, как герой,  
Ты зрел их: страшна мечь к тебе их приводила,  
На лицах их читал решимость, крепость сил,  
И вид их говорил:  
Тебе иль мне могила!

Стихи эти написаны сто тридцать лет назад молодым поэтом Михаилом Милоновым (1792—1821): «На истреб-

ление Наполеоновых армий в России»<sup>1</sup>, а звучат они, как будто написаны в наши дни.

Как только началась новая Отечественная война, произошла поголовная свободная мобилизация советской литературы.

Советские писатели любого вида литературного оружия тотчас же с началом войны явились без всяких поветок на мобилизационные пункты, включились в общее дело народной обороны. Не все писатели надели военную форму, но все, за немногими исключениями, отточили перо по-военному, подчинили свою работу дисциплине военного времени, сумели так или иначе, ярче или слабее влить свою личную творческую тему в единую общую творческую тему всей страны: любовь к родине и борьба за ее свободу.

Советский писатель обрел в этой борьбе новые творческие силы.

Писатель несет труд войны плечо к плечу с бойцом, работая под артиллерийским обстрелом, в тех же блиндажах, в которых укрываются бойцы, выпуская листки боевых газет на самом поле боя.

Перо писателя в этих условиях становится таким же военным оружием в прямом смысле слова, как винтовка бойца или пулемет в руках пулеметчика. Но можно назвать и сотни примеров, когда, не выпуская из рук профессионального оружия писателя, стального пера, советский писатель берет в руки и другое оружие — самое винтовку и пулеметную ленту.

Советская литература занимает большой и ответственный участок единого фронта Отечественной войны. Советский писатель оказывает на своем участке фронта такое же жестокое сопротивление врагу, как советский пехотинец, кавалерист, танкист, летчик на своих участках того же фронта.

Слушая сообщения о героической борьбе на всех фронтах Отечественной войны, внимая подвигам, совершаемым бойцами всех родов оружия, постоянно встречаешь сопоставления их с героями 1812 года. Имена Кутузова, Багратиона, Дорохова, Ермолова, Давыдова, имена крестьян

<sup>1</sup> Михаил Милонев. Сатиры, послания и другие мелкие стихотворения. СПб., 1819, стр. 177—181.

ян-партизан постоянно вспоминаются, как только речь заходит о героических действиях нашей Красной Армии. Это и понятно: Отечественная война наших дней неизбежно возобновляет в памяти Отечественную войну 1812 года, окончившуюся победою русского народа.

Вспоминая о героях Отечественной войны 1812 года, наших предшественниках по борьбе, вспоминая труженников воинского подвига, от Кутузова до крестьянина-партизана, было бы грубой ошибкой не вспомнить о борцах 1812 года, действовавших против Наполеона пером и мечом,— о русских писателях, участвовавших в Отечественной войне. Их доля участия в борьбе с Наполеоном велика. Она засвидетельствована воинскими отличиями, полученными писателями за Бородино, за Красный, за Лейпциг, за Париж. Она засвидетельствована не только такими замечательными созданиями русской поэзии, как «Певец во стане русских воинов» Жуковского или военные стихи Батюшкова, но кровью писателей, пролитою в великом сражении за Москву и в битве народов под Лейпцигом.

До сих пор не существовало ни одной работы на тему: «Русские писатели в Отечественной войне 1812 года». Тему эту поставила жизнь, тема эта родилась из нового исторического факта: из деятельного участия писателей в нынешней Отечественной войне.

Совершенно понятно, что русские писатели, принимавшие участие в войне 1812 года, стояли на самых различных идеологических позициях. Литературная их деятельность нашла себе в истории русской культуры и литературы весьма различную оценку. Достаточно сказать, что среди них были и Рылеев — будущий декабрист, — и Загоскин или Шишков — представители явно реакционных течений общественной мысли своего времени. Жизненные и творческие пути этих писателей, после того как закончилась война 1812 года, собравшая их вместе в едином патриотическом порыве, были весьма различны. Но мы в настоящей работе, не забывая о противоречиях, их разделявших, говорим о них, имея в виду именно тот исторический момент, когда перед лицом общего для всех врага они были охвачены высоким патриотическим чувством. Оно и сближает с нами писателей того времени, несмотря на то, что между нами лежит сто тридцать лет.

Поэтому мы оставляем здесь в стороне то, что, естественно, разделяет нас.

Мы говорим лишь о том ценном, прогрессивном, патриотическом, что было в деятельности русских писателей в 1812 году. Исходя из этих соображений, мы оставляем в стороне и вопрос о литературных спорах того времени, о борьбе литературных партий, о различии взглядов писателей, объединившихся в период общей борьбы с врагом в 1812 году.

Нужно сделать также оговорку, что задача настоящей книги не в том, чтобы дать историю русской литературы в эпоху 1812 года, а в том, чтобы рассказать об участии русских писателей в Отечественной войне. Нужно сделать оговорку и о том, как пошмается автором книги это участие писателя в войне. В эпоху Отечественной войны было много писателей, так или иначе откликнувшихся на события 1812 года в стихах и прозе, но в этой книге речь идет о писателях, участвовавших в этой войне не только пером, но и мечом, а также о тех писателях, которые, не сражаясь на поле брани, сумели заострить свое перо до остроты разящего меча.

Около тридцати имен писателей, непосредственных участников в Отечественной войне, найдет читатель в этой книге, но список их не является исчерпывающим: размеры книги вынуждали останавливаться лишь на именах, оставивших исторический след в летописях русской литературы и войны 1812 года.

Рассказ об участии писателей в войне 1812 года естественно вести так, чтобы читателю была ясна зависимость этого участия от хода военных действий, от самого течения войны 1812 года. Переход Наполеона через Неман, взятие Смоленска, приближение французов к Москве, Бородино, пожар Москвы, Тарутино — это признанные всеми историками вехи войны 1812 года. Они же являются и вехами все более и более растущего участия писателей в этой войне. Следование этим вехам — естественный порядок, которого следует держаться в рассказе об участии писателей в Отечественной войне.

«Война родит героев».

Этот закон справедлив и для наших дней, как был справедлив он для «священной памяти двенадцатого года».



24 июня (н. с.) 1812 года Наполеон отдал приказ своим войскам перейти через Неман на русскую землю. Число этих войск доходило до полумиллиона. Такого огромного вражеского ополчения русская земля еще никогда не видела в своих пределах.

Наполеон был в зените своей военной славы и политического могущества. Император Западной Европы — таков был его неписанный, но фактически ему принадлежавший титул. И его войско, переправившееся через Неман, не было французским войском — это была армия, в которой были представлены едва ли не все народности Западной Европы — латинские, германские, славянские.

Наступление, предпринятое Наполеоном, произвело сильнейшее впечатление на русский двор, высшее общество, верховное командование русской армии. Историки говорят о растерянности, воцарившейся там и туг, о некоем временном испуге перед именем Наполеона, перед ореолом непобедимости, блестевшим над всеми его военными предприятиями.

«Наполеон знал о растерянности в русском штабе и, еще находясь в Вильне, получил сведения о том, что первоначальная мысль защищаться на Двине в укрепленном лагере на Дриссе оставлена, так как Барклай боялся обхода этого лагеря и неизбежной капитуляции, и что русская армия двумя колоннами отступает в глубь страны»<sup>1</sup>.

Наполеон знал о впечатлении, производимом его до толе непобедимым именем при дворе, в кругах высшей знати, и надеялся на то, что в ближайшем же сражении произойдет повторение Аустерлица и Фридланда, а за ними последует новый Тильзит, когда, по выражению Пушкина, «с победным договором и с миром, и с позором» он предстал перед Александром.

Но он не знал, что, вступив в Россию, он будет воевать не с Александром I, с его министрами, царедворцами и полководцами, а с русским народом, и что успех его похода будет зависеть не от возможных побед над генералами Александра I, а от невозможности победы над великим народом, который не мог признать ничьей завоевательной власти над собою.

<sup>1</sup> Е. Тарле. Наполеон. М., 1934, стр. 370, 371.

Наполеон не понимал, что, увлекая его за собою в глубь страны, отступающая русская армия готовит ему страшную встречу с самим народом, поднявшимся на защиту родины и почерпавшим силы в себе самом.

Наполеон видел прямую цель своего похода в захвате столицы России — Москвы, и, по мере того как русская армия, сначала под водительством Барклая-де-Толли, потом — Кутузова, отступала все глубже внутрь страны, все ближе к Москве, Наполеону представлялось, что его цель — захват столицы государства — все ближе к осуществлению, а вместе с тем он все ближе и ближе к заключению победоносного мира: по опыту войны с Австрией и Пруссией Наполеон знал, что занятие столиц — Вены и Берлина — неизбежно приводило к капитуляции всей страны.

Так думал не один Наполеон. Так думала и г-жа де Сталь, с ужасом ожидавшая, что России предстоит участь Австрии и Пруссии. В своей книге «Десять лет изгнания» г-жа де Сталь пишет:

«Один иностранец сказал мне, что Смоленск взят и Москва в крайней опасности. Мною овладело отчаяние. Я подумала, что вновь повторяется плачевная история Австрии и Пруссии, вынужденных заключить мир вследствие завоевания их столиц. В третий раз начиналась та же игра, и она могла опять быть выиграна»<sup>1</sup>.

Но г-же де Сталь, внимательно всматривавшейся во время ее пребывания в России в 1812 году не только в лицо Александра I и в быт его двора и высшего общества, но и в лицо русского народа, скоро пришлось отказаться от своих опасений. Знаменитая писательница, перед глазами которой прошла вся французская революция, откровенно призналась в своей ошибке: «Я не замечала народного духа, внешняя переменчивость впечатлений у русских мешала мне наблюдать его. Отчаяние оледенило все умы, а я не знала, что у этих крайне впечатлительных людей это отчаяние — предтеча страшного пробуждения. Точно так же в простом народе видишь непостижимую лень до той минуты, когда пробуждается его энергия; тогда она не знает преград, ничего не страшится; она, кажется, побеждает стихии так же, как и

<sup>1</sup> De Staël. Dix années d'exil. Paris, 1904. p. 355.

людей»<sup>1</sup>. Красноречивая г-жа де Сталь не находит слов, чтоб выразить свой восторг перед героическим мужеством народа, поднявшегося против Наполеона:

«Невозможно было довольно надивиться той силе сопротивления и решимости на пожертвования, которую обнаружил народ»<sup>2</sup>.

Наполеону скоро пришлось убедиться в справедливости этих наблюдений над русским народом, сделанных г-жею де Сталь. Дорогою ценою он понял, что воюет не с Александром I, а с русским народом. В свой черед Александр I гораздо раньше Наполеона понял, что если России суждена победа над знаменитым полководцем, стоявшим во главе почти полумиллионной европейской армии, то эта победа будет одержана не гвардией или гренадерами, состоящими под командою таких-то генералов, а всем русским народом, который в лице Кутузова — суворовского ученика, не любимого Александром, — видел своего единственного надежного вождя.

Вот почему, преодолевая свое крепкое нерасположение к Кутузову, Александр, подчиняясь народной воле, поставил его во главе русской армии, а сам устранил себя от верховного командования и уехал из главной квартиры действующей армии.

6 июля 1812 года Александр I обратился к России с манифестом, в котором призывал все сословия народа восстать против Наполеона, — это был манифест о созыве народного ополчения: «При всей твердой надежде на храброе наше воинство, полагаем мы за необходимо нужное собрать внутри государства новые силы, которые, нанося новый ужас врагу, составляли бы вторую ограду в подкрепление первой и в защиту домов, жен и детей каждого и всех». Александр I подчеркивал, что обращается «ко всем сословиям и состояниям духовным и мирским, приглашая их... единодушным и обоюдным восстанием содействовать противу всех вражеских замыслов и покушений. Да найдет он на каждом шаге верных сынов России, поражающих его всеми средствами и силами, не внимая никаким его лукавствам и обманам».

<sup>1</sup> Там же.

<sup>2</sup> Там же, стр. 300.— О пребывании г-жи де Сталь в России в эпоху 1812 года см.: С. Дурылин. Г-жа де Сталь и ее русские отношения. «Литературное наследство», 1939, кн. 33, 34, стр. 265—279.

Призывая к всенародному отпору против завоевателя, Александр I напоминал ту историческую годину, когда Россия была спасена от иноземного завоевателя всенародным же ополчением,— славную эпоху 1612 года:

«Да встретит он (Наполеон. — С. Д.) в каждом дворянине Пожарского, в каждом духовном Палицына, в каждом гражданине Минаина».

Манифест заключается призывом: «Народ русский! Храброе потомство храбрых славян! Ты неоднократно сокрушал зубы устремлявшихся на тебя львов и тигров. Соединитесь все: со крестом в сердце и с оружием в руках, никакие силы человеческие вас не одолеют».

В тот самый день, когда Александр I обнародовал этот призыв ко всей стране, он обратился с особым «Призванием к городу Москве».

Извещая Москву о том, что «неприятель вошел с великими силами в пределы России» с целью «разорять отечество наше», Александр I писал: «Того ради, имея в намерении, для надежнейшей обороны, собрать новые внутренние силы, наипервое обращаемся мы к древней столице предков наших, Москве. Она всегда была главою прочих городов российских; она изливала всегда из недр своих смертоносную на врагов силу; по примеру ее из всех прочих окрестностей текли к ней, наподобие крови к сердцу, сыны отечества для защиты одного. Никогда не настояло в том вящшей надобности, как ныне... Да составит и ныне сие общее рвение и усердие новые силы, и да умножатся оные, начиная с Москвы, во всей обширной России»<sup>1</sup>.

Этим призыванием Москва ставилась во главе народной обороны против знаменитого завоевателя.

И Москва действительно стала во главе народного отпора Наполеону.



<sup>1</sup> Манифест и «Призвание к Москве» цитируются по книге: «Юбилейный сборник в память Отечественной войны 1812 года под ред. И. Ф. Цветкова. Калуга, 1912, стр. 12—16. Даты актов Александра I и все дальнейшие даты приводятся по старому стилю. Манифест и «Призвание к Москве» писаны А. С. Шишковым.



*С. Н. Глинка*

## II



Первое народное ополчение было собрано в Москве, и первым добровольцем, записавшимся в народное ополчение, был писатель Сергей Николаевич Глинка (1775—1847).

Этот писатель был давним и убежденным врагом Наполеона—первый начав с ним борьбу пером, он первый же поднял против Наполеона и меч: еще в 1806 году, после Аустерлица, он вступил в ополчение и был бригад-майором Сычевской дружины.

Когда в эпоху «союза» Александра I с Наполеоном, вынужденного неудачей под Фридландом, высшее общество предалось неудержимой галломании, Глинка повел упорную борьбу за пробуждение в обществе интереса к русской истории. Он предвидел неизбежность решительного столкновения Наполеона с Россией и с наприя-

женным рвением стремился воскресить пред русским читателем славные страницы истории, отмеченные борьбою русского народа за свою независимость.

Одно за другим следовали в печати и на театре произведения С. Н. Глинки, воскрешавшие героическое прошлое русского народа: «Пожарский и Минин или пожертвования россиян» (поэма, 1807), «Михаил, князь Черниговский» (трагедия, 1808), «Ольга Прекрасная» (героическая опера, 1808), «Баян» (пролог, 1808), «Минин» (драма, 1809). «Осада Полтавы» (драма, 1810).

Пьесы С. Н. Глинки не обладали большими художественными достоинствами, но благодаря своей патриотической настроенности имели успех у современников. Как вспоминает один из современников (Н. А. Полевой), «когда давали пьесу «Минин» С. Н. Глинки, зрители хлопали с восторгом каждому стиху, имевшему отношение к тому, что происходило на великом театре отечественной брани. Когда Минин восклицал:

Бог сил! Предшествуй нам, правь нашими рядами,  
Дай нам всем умереть отечества сынам!—

стены потрясались от «ура» и рукоплесканий».

Еще более сильным оружием против Наполеона явился в руках С. Н. Глинки его журнал «Русский вестник», который начал выходить с 1808 года в Москве. По собственным словам Глинки, он начал издавать «Русский вестник» «для возбуждения духа народного и вызова к новой и неизбежной борьбе» с Наполеоном<sup>1</sup>.

«По всей России, особенно в провинциях, читали его с жадностью и верою, — вспоминает П. А. Вяземский. — Одно заглавие его было уже знамя. В то время властолюбие и победы Наполеона, постепенно порабощая Европу, грозили независимости всех государств. Нужно было поддерживать и воспламенять дух народный; пробуждать силы его, напоминая о доблестях предков, которые так же сражались за честь и целость отечества...

Надлежало драться не только на полях битвы, но воевать и против нравов, предубеждений, малодушных привычек. Европа онаполеонилась. России, прижатой к своим степям, предлежал вопрос: быть или не быть, то есть

<sup>1</sup> С. Н. Г л и н к а. Записки. СПб., 1895, стр. 220.

следовать за общим потоком и поглотиться в нем или упорствовать до смерти или до победы?

Церо Глинки первое на Руси начало перестреливаться с неприятелем. Он не заключал перемирия даже и в те роздыхи, когда русские штыки отмыкались, уступая силе обстоятельств и выжидая нового вызова к действию.

В одной из книжек «Русского вестника» было напечатано между прочим: «одно великодушие императора Александра остановило потоки крови в 1807 году, и если по неисповедимым судьбам провидения снова возгорится война между Франциею и Россиею, Россия найдет новые силы». Она их нашла, и пророчество Глинки сбылось.

Мнения, им оглашаемые, и отзыв, который они встречали в массах читателей, не могли ускользнуть от несусыпного, беспокойного и ревнивого деспотизма Наполеона. Глинка, подобно г-же Сталь, имел честь обратить на себя внимание его и негодование. Французский посол Коленкур жаловался нашему правительству на неприятный дух «Русского вестника»<sup>1</sup>...

Гроза двенадцатого года и дым московского пожара чуялись уже в воздухе. В трагедиях Озерова и Крюковского были намеки на Наполеона. Речь Дмитрия Донского: «О, дерзостный посол надменнейшего хана!» была написана прямо к лицу французского посла...

Жуковский от «Сельского кладбища», на котором мечтал с Греем, переходил к полю, усеянному костями древних славян<sup>2</sup>.

В «Барде» слышался уже могучий голос «Певца во стане русских воинов»...

Наконец загорелся 1812 год. Наполеон с своими полчищами «дванадесяти языков», как говорили тогда, свирепствовал уже в недрах России. Тогда литература Глинки обратилась в общее действие. «Русский вестник» облекся в плоть и кровь.

<sup>1</sup> Вследствие этой жалобы поэт А. Ф. Мерзляков, цензор журнала «Русский вестник», получил «выговор», а С. Н. Глинка был «удален» от московского казенного театра, где ставил свои патристические пьесы.

<sup>2</sup> Речь идет о стихотворении «Песнь барда над гробом славян-победителей», вышедшем в 1806 — в эпоху первой войны России с Наполеоном, с посвящением «неустраслимым защитникам отечества».

По приказанию Александра I, московский главнокомандующий Ростопчин объявил Глинке: «Развязываю ваш язык на все полезное для отечества, а руки на триста тысяч рублей экстраординарной суммы»<sup>1</sup>.

С. Глинка с утроенными силами отдался своей литературно-оборонной деятельности против Наполеона; по словам А. С. Пушкина, знавшего и ценившего Глинку, «пылкость и неустранимость его духа обнаружилась в его речах, письмах и деловых записках»<sup>2</sup>.

Патриотическая деятельность Глинки отличалась полнейшим бескорыстием.

П. А. Вяземский пишет: «Деньги — огромная по тому времени сумма в 300 000 рублей — отданы были в его распоряжение... Но сумма, предоставленная ему, осталась в целости и возвращена была казне. Он удовольствовался тем, что, записавшись первый в ратники московского ополчения, внес в приношение на триста рублей серебра из скромного своего имущества. С того дня Глинка перенес литературу свою на площадь; он попал на свою колею. Глинка был рожден народным трибуном... Речами своими он успокаивал и ободрял народ»<sup>3</sup>.

Глинка оставил одно из самых живых и внутренне-правдивых повествований о 1812 году в своих «Записках о 1812 году первого ратника Московского ополчения» (СПБ., 1836) и в продолжающих их «Записках о Москве и о заграничных происшествиях от исхода 1812 года до половины 1815 года» (СПБ., 1837).

При первой весте о воззвании к Москве, полученной в три часа утра, — рассказывает С. Н. Глинка, — «полетел я в Сокольники к графу Ростопчину с одною мыслью — отдать себя Отечеству за отечество. К графу приехал я в пять часов утра. Говорю, что мне нужно видеться с графом... «Нельзя»... — «Позвольте же мне по крайней мере оставить записку»... Я написал: «Хотя у меня нигде нет поместья; хотя у меня нет в Москве никакой недвижимой собственности и хотя я — не уроженец москов-

<sup>1</sup> П. А. Вяземский. Полное собрание сочинений. Том II. СПб., 1879, стр. 338—341.

<sup>2</sup> А. С. Пушкин. Сочинения. Том 8. М.-Л., «Academia», 1936, стр. 43.

<sup>3</sup> П. А. Вяземский. Полное собрание сочинений. Том II. СПб., 1879, стр. 341.



ский, но где кого застала опасность Отечества, тот там и должен стать под хоругви отечественные. Обрекаю себя в ратники Московского ополчения и на алтарь Отечества возлагаю на 300 рублей серебра». Таким образом 1812 года июля 11-го мне первому удалось записаться в ратники и принести первую жертву усердия».

Вот как, по рассказу Глинки, Москва встретила первую весть о том, что предстоит не просто война с сильным давним врагом, но война, в которой необходимы участие всего народа и великие жертвы с его стороны:

«Вскоре улицы закипели жизнью и движением. Страх и боязнь не витали по стогнам градским... Тут не проявлялись никакие хвастливые выходки. Не слышно было удалых поговорок: «Мы закидаем шапками! мы постоим за себя!»... Дух народный всего торжественнее высказывается в годину решительного подвига. В часы грозной, в часы явной опасности народ русский подрастает душою и крепчает мышцею отважною».

Эта замечательная выдержка народа, свидетельствующая о мощи его духа, особенно поражала рядом с неподвижной пошлостью правящего чиновничества, не желавшего даже прислушаться к тому, что переживает народ в эти грозные дни.

В комитете пожертвований, куда стекались народные жертвы на войну, «два главные чиновника, принимая пожертвования, по неугомонной привычке разговаривали по-французски. Добрые граждане, поспешавшие возлагать на алтарь отечества и сотни, и тысячи, и десятки тысяч, слыша французское бормотанье, с скорбным лицом восклицали: «Господи! Боже наш! и о русских-то пожертвованиях болтают и суесловят по-французски!» Это был не порыв ненависти к французам: нет! В 1812 году мы не питали ненависти ни к одному народу; мы желали только отразить нашествие, но то был праведный голос сынов России».

«Дух русский стоял на страже»,— свидетельствует С. Н. Глинка о подъеме, сопровождавшем рождение всенародного ополчения:

«Появлялись ли в гостиных рядах раненые наши офицеры,—купцы и сидельцы приветствовали их радушно. Нужно ли было им что-нибудь купить,—им все предлагали безденежно торопливою рукою и усердным серд-

цем. «Вы проливаете за нас кровь.— говорили им:— нам грех брать с вас деньги». В селах и деревнях отцы, матери и жены благословляли сынов и мужей своих на оборону земли русской. Поступивших в ополчение называли жертвенниками, то есть ратниками, пожертвованными Отечеству не обыкновенным набором, но влечением душевным.

Жертвенники или ратники, в смурых полукафтаньях, с блестящим крестом на шапке, с ружьями и пиками, мелькали по всем улицам и площадям с мыслью о родине. Тень грусти пробегала на лицах их; но не было отчаяния. Ласка и привет сердечный везде встречали их. И дивно свыкались они и с ружьем, и с построениями военными!»<sup>1</sup>

Призыв к ополчению вызвал живой отклик и в немногочисленной тогда учащейся молодежи.

177041  
«Некоторые из юношей патриотов,— рассказывает С. Глинка про московских студентов,— приходили ко мне с просьбами, чтобы я содействовал рвению их. «Ваш «Русский вестник», говорили они, воспламенил наш дух; помогите нам жертвовать собою Отечеству».

Ответ на эту просьбу, данный Глинкою, достоин эпохи и ее истинно-патриотического духа:

«Граф Ростопчин, именем государя развязывая мне язык на пользу Отечества, тем же именем развязал мне и руки на триста тысяч экстраординарной суммы. По этому праву я мог бы для нужд других брать из нее; но мне как будто бы стыдно было развязывать себе руки на деньги в то время, когда доверенность развязала мне язык для выражения вдохновений душевных. И так, чтобы удовлетворить ревностных просителей, я спешил продать драгоценные вещи жены моей. Награда за это — Провидение и судьба детей: у них останется память родного подвига»<sup>2</sup>.

Глинка хотел, чтобы его мысль и перо, отданные отечеству, были совершенно свободны ото всего, что подчиняло бы их «казне»: подвиг ради родины, а не служба ради правительства — вот чего хотел Глинка, как и

<sup>1</sup> С. Н. Глинка. Записки о 1812 году первого ратника Московского ополчения. СПб., 1836, стр. 3—7, 30, 31, 44, 45 (с сокращениями). Все разрядки в цитатах принадлежат цитируемым авторам.

<sup>2</sup> Там же, стр. 45, 46.

множество других русских людей, в ту героическую эпоху.

Все «Записки» С. Н. Глинки посвящены одной теме: народной войне. Основная мысль Глинки в том, что не усилия правительства, не искусство полководцев, не мастерство дипломатов, а единодушный и повсеместный народный отпор был причиной гибели Наполеона. В противоположность большинству историков 1812 года, у которых история войны превращалась в историю генералов, ее ведших, Глинка любовно выискивает, тщательно отмечает в своих «Записках» все факты, в которых особенно ярко проявляется основная особенность войны 1812 года: что ее вел и довел до победы и а р о д.

С. Глинка уже в ранний период военных действий понимал значение партизанской войны,— значение, остававшееся неясным для большинства генералитета чуть не до самого конца кампании, вопреки той высокой оценке, которую партизаны находили у Кутузова. С. Глинка пишет: «По оставлении Смоленска подал я графу (Ростопчину.— С. Д.) записку о лесном вооружении в лесах смоленских уездов, не занятых еще неприятелем, и о распространении оного до Москвы. У смоленских помещиков множество было псарей, ловчих и стрелков. Я предполагал, чтобы составить из них дружины, укрываться днем в чаще лесов, а в ночь выбегать с ними и стремглав нападать по бокам и в тыл неприятеля»<sup>1</sup>. Ростопчин оставил записку Глинки без внимания.

Для нас, являющихся свидетелями необозримого разлива партизанской войны во вторую Отечественную войну, драгоценны прямые, правдивые и одушевленные рассказы С. Н. Глинки об отдельных эпизодах самостоятельной крестьянской войны 1812 года, тем более, что эти эпизоды обошли своим вниманием едва ли не все официальные и официозные историки 1812 года. Рассказы С. Глинки тем более полны для нас интереса, что они относятся к тем же местностям, в которых пылала и пылает партизанская война в 1941 и 1942 годах:

«Приближаясь к Москве, неприятель занял почти весь Звенигородский уезд, кроме малой части селений в стороне за упраздненный город Воскресенск<sup>2</sup>... Жители

<sup>1</sup> Там же, стр. 33.

<sup>2</sup> Теперь город Истра.

окрестные, жители Воскресенска и жители тех селений, которые или захвачены были, или сожжены, собрались к общей обороне... Они единодушно положили защищать Воскресенск и не перепускать за него врагов. Предприятия свои основали они не на слепой отважности, но на благоразумии и осторожности. Они учредили дневную и ночную стражу, расставили караулы по лесам и по всем местам, откуда скрытно можно наблюдать неприятелей; часто влезали для наблюдения на вершины деревьев, хотя, может быть, и не слышали, что Суворов то же делал. В перелесках, за буераками, везде осторожные воины-земледельцы расставляли недремлющую стражу. Сверх того устанавливали, чтобы по звону колокольному собираться им немедленно верхами и пешком, где услышат первый звон. На повестку сбегалось множество осторожных воинов-земледельцев: иные были вооружены ружьями, другие коньями, топорами, вилами и косами... Вооруженные поселяне неоднократно прогоняли неприятельские отряды, приходившие от Звенигорода и со стороны от Рузы; часто отражали их от самого Воскресенска, неоднократно бывали в сражениях одни и с казаками; поражали, брали в полон и доставляли пленных казацким караулам. В звенигородском округе убито, ранено и взято в плен неприятелей вооруженными обывателями более двух тысяч. Таким образом воинами-поселянами защищен город Воскресенск, спасен монастырь, Новым Иерусалимом называемый, и сохранена некоторая часть селений»<sup>1</sup>.

Чем глубже проникал неприятель в пределы России, тем сильнее он встречал народный отпор, возникавший всюду и, в большинстве случаев, без всякого возбуждения и содействия со стороны военных властей.

«В исходе августа и в начале сентября неприятельские отряды, томимые голодом, непрестанно нападали на Вышегородскую волость. Расторопные старосты Никита Федоров и Гаврила Миронов с сельскою своею дружиною отважно и неустрашимо отражали нападения. Бегущие отряды неприятельские покушались перейти Протву-реку, на которой была мукомольная мельница о пяти поставах. В руки их мог бы достаться запасный казенный амбар, в котором хранилось более 500 четвертей ржи. Два пи-

<sup>1</sup> С. Н. Глянка. Записки о 1812 годе, стр. 112—114 (с сокращениями).

саря Вышегородской волости — Алексей Кирпишников и Николай Усков немедленно бросились в селение. Мгновенно собралось до пятисот воинов-поселян и полетели против отряда неприятельского... Между тем, когда мужественные крестьяне отражали отряд неприятельский, бывший в то время на мельнице работник Ильинской слободы крестьянин Петр Петров Комоланов и товарищ его из деревни Лобованой Емельян Минаев, дав друг другу крепкое слово или умереть или отбить врага, под частыми ружейными выстрелами разрушали валы плотины и спускали воду, разбрасывая оплоты, которыми удерживалась она в пруде. Спустя воду, остановили они неприятельский отряд, спасли дом, хлебный запасный амбар, дворы и имущество набережной слободки; отстояли церковь»<sup>1</sup>.

Народный отпор врагу не был явлением местного характера, присущим только отдельным местностям. С. Глинка свидетельствует:

«Около четырех месяцев странствуя по различным краям России, я мог наблюдать дух народный и по внутреннему убеждению совести говорю, что Наполеон везде бы встретил такую же борьбу с дружинами поселян, какую встречал в окрестностях Московских и в Смоленских уездах»<sup>2</sup>.

Народ—крестьянство и трудовое городское население—знал только два отношения к врагу — или борьбу с ним оружием, или уход от него с оставлением неприятелю одних пожарищ.

Глинка сам полностью разделял это народное отношение к неприятелю. Вот как он покидал Москву в самый час вступления в нее Наполеона:

«Наступил час вечерен. Колокола молчали. Вдруг как будто бы из глубокого гробового безмолвия выгрянул, раздался крик: «Французы! Французы!»

К счастью, лошади наши были оседланы. Кипя досадою, я сам разбивал зеркала и рвал книги в щегольских переплетах... Взлетая на коней, мы понеслись в отворенные сараи за сеном и овсом... Мелькали еще в некоторых домах и модные зеркала и модные мебели, но на них

<sup>1</sup> Там же, стр. 116—118 (с сокращениями).

<sup>2</sup> Там же, стр. 263.

никто не взглядывал. Кто шел пешком, тот хватался за кусок хлеба; кто скакал верхом, тот захватывал в торока сена и овса. В шумной, в многолюдной, в роскошной, в преиспещренной Москве завелось кочевье природных сынов ее»<sup>1</sup>.

Глинка на всем протяжении «Записок» дает понять читателю, что у народа и у правительства не было единого голоса в этой войне, что честь и достоинство России ограждены в 1812 году народом, а не правительством и не офранцуженной аристократией.

В то время, как повозок нехватало для вывоза из Москвы раненных при Бородине, императрица Мария Федоровна сердито пеняла поэту Ю. А. Нелединскому-Мелецкому (1752—1828), автору песни «Выйду ль я на реченьку», начальствовавшего в 1812 году в Москве над институтами, состоявшими под покровительством императрицы:

«Как могли допустить, что благородных девиц отправить на телегах? Уж довольно мне прискорбно, если необходимость заставила возить на телегах воспитанниц Александровского училища, которые из нижних офицерских, мещанских и подобного состояния детей; а дочерей лучшего дворянства — на телегах! — не могу себе представить без огорчения и, прямо сказать, стыда и даже слез. Неужели в обширной, изобильной всем Москве не можно было, если не ссудою, то наймом достать потребного числа карет?.. Для исправления сего, я предписала Баранову нанять кареты, где только на пути найдет к тому возможность»<sup>2</sup>.

Как сметь отправить «благородных девиц» на неблагородных телегах — вот все, в чем выразилась скорбь императрицы при известии об оставлении Москвы ее жителями.

Пожар Москвы, в глазах С. Глинки, был великим народным подвигом, и он с негодованием отвергал оба варианта объяснения причин пожара Москвы, из которых один указывал, как на поджигателя, на Ростопчина, а другой — на Наполеона I. Но самое замечательное, что

<sup>1</sup> Там же, стр. 68, 69.

<sup>2</sup> Кн. М. А. Оболенский — Нелединский-Мелецкий. Хроника недавней старины. СПб., 1876, стр. 148.

С. Глинка с большим чутьем к исторической правде сумел и в пылающей Москве отделить Москву народную от барской Москвы, с ее крепостнической роскошью и праздностью.

«Кто жег Москву? Никто...

Эта слава, без всякого исключения, принадлежит Москве, страдавшей и отстрадавшей и за Россию и за Европу...

Горели палаты, где прежде кипели радости земные, стоившие и многих и горьких слез хижинам. Клубились реки огненные по тем улицам, где рыскало тщеславие человеческое на быстрых колесницах, также увлекавших с собою и за собою быт человечества. Горели наши неправды, наши моды, наши пышности, наши проски и подыски, все это горело, но — догорело ль?..

Сдачи Москвы не было...

Подобно скале гранитной, Москва противопоставлена была нашествию, и оно, приразясь к ней, раздробилось и обессилело. Тут дымом рассеялись и все замыслы стратегические и все извороты тактические»<sup>1</sup>.

Пожар Москвы был новым призывным кличем к утренней борьбе с завосвателем.

Русский народ предпочел бы выселиться в Сибирь, но не остаться под властью чужеземцев-поработителей: таково было наблюдение С. Глинки, подтверждаемое зарисованными им сценами.

Под точным и ярким заглавием «Народное переселение» С. Н. Глинка писал:

«Кто видел переправы через реки тысяча восемьсот двенадцатого года, тот видел переселение народа и народов. От бесчисленного скопления повозок, карет, колясок, телег, кибиток, дрожек иногда дожидались переправы по двое суток и более. Днем на пространстве нескольких верст пылали прибрежные огни для приготовления пищи, а ночью для освещения. Это были: переселенные биваки. Тут дружески сходились и наши раненые и раненые двадцати народов; тут были колыбели младенцев; тут раздавались вопли рожениц и пение погребальное. Тут в одни сутки проявлялись все переходы житейские, кроме хождения к алтарям брачным».

<sup>1</sup> С. Н. Глинка. Записки о 1812 году. СПб., 1836, стр. 78, 79, 87.

С. Глинка свидетельствует от лица этого народа, упо-  
саящего с собою в неопределенно далекий путь несокру-  
шимую волю к свободе:

«Если, сверх чаяния, говорили мы, Наполеон остано-  
вится зимовать в Москве, надобно будет броситься в леса  
Смоленские, собрать новые дружины из крестьян и соста-  
вить такое же лесное ополчение и в сопредельных гу-  
берниях. Безоборонною сдачею Москвы мы доказали, что  
не приковываем независимости Отечества ни к улицам  
городов, ни к стенам столиц. А потому леса должны быть  
жилищем нашим до вытеснения завоевателя из земли  
русской. Мы, может быть, одичаем, но, когда ударит час  
избавления Отечества, мы выйдем из глубины леса с  
освеженными, с обновленными душами»<sup>1</sup>.

Многие мемуаристы 1812 года отмечают, что этот все-  
народный отпор раскрыл глаза множеству солдат армии  
Наполеона на тот обман завоевателя, благодаря которому  
народы Европы были вовлечены в ненужную для них,  
но кровопролитную борьбу с русским народом, чуждым  
каких-либо завоевательных целей на Западе.

С. Н. Глинка вспоминал: «Тянувшиеся отряды пленных  
разительно представляли кочевье почти всех народов  
Европейских: тут были и французы, и итальянцы, и гер-  
манцы, и испанцы, и португальцы, и голландцы, и все  
отрывки двадцати народов.

Мы встретили один из отрядов, провожаемый нашими  
ратниками. Подъехав к пленным, спрашиваем по-фран-  
цузски: «Все ли они довольны?» Французский пленный  
отвечал: «Нас нигде не обижали, но мы с трудом нахо-  
дим пищу». — «Что делать?» — отвечал я: — «И мы, русские,  
в Отечестве своем с трудом добываем кусок хлеба. На-  
шествие вашего императора все вверх дном пере-  
вернуло».

Когда Глинка поделился с пленными хлебом, — «Нас  
обманули! — воскрикнули несколько голосов. — Нам обма-  
нули! Нам говорили, что русские — варвары, волки, мед-  
веди. Зачем нас привели сюда?» — «Может быть. — отве-  
чал Глинка, — для того, чтобы вы увидели, что и мы  
люди»<sup>2</sup>.

Наблюдая народный отклик на нашествие Наполеона,

<sup>1</sup> Там же, стр. 88—90.

<sup>2</sup> Там же, стр. 85, 86 (с сокращениями).



С. Н. Глинка был поражен размахом, силой и широтой этого всенародного отклика, не остановившегося ни пред какими жертвами. «В одно время было и ополчение и набор рекрутский, и необыкновенные поставки для армии или реквизиция. В одно время действовало войско, сражались дружины поселян и составлялись резервная и запасная армия, служившая неистощимым рассадником в войну заграничную. Исполнинская Россия обладала и исполинскими средствами»<sup>1</sup>.

Рисуя правдивыми и горячими красками народную Россию, поднявшуюся на Наполеона, С. Н. Глинка, издавна предвидевший неизбежность и победоносность народной борьбы с Наполеоном, как писатель-профессионал, как редактор журнала «Русский вестник», с особым одушевлением отмечает участие братьев по перу в героической народной борьбе.

С. Глинка говорит о Жуковском: «С пламенной душою поспешил он к развевающимся знаменам Русским. Парение духа его усиливалось полетом необычайных событий. Он видел сподвижников новой, небывалой дотоле войны на лице земли. Он вник в душу каждого из них и в песнях своих передал им блеск их доблестей,— в тех песнях, которые сливались с громами пушечными. Пылкая душа окрылялась, видя сотоварищей юных дней своих, летевших на смерть или к победе. Мы не завидуем заграничным поэтам, вступившим в ряды новоополченных воинов. Пал и у нас на лаврах юный Кайсаров, обменявший кафедру Русской Словесности Дерптского университета на шум грозных битв. Батюшков, питомец сердца и Граций, был под градом пуль, картечей; был ранен и снова готовился под знамена ратные. Князь П. А. Вяземский шел по следам своих друзей и был на битве Бородинской. Тогда самоотречение было живою поэзиею души»<sup>2</sup>.

С. Н. Глинка с гордостью упоминает имя Кайсарова в числе героев-добровольцев, павших на поле битвы,— и это имя стоит почетного воспоминания в наши дни.

Андрей Сергеевич Кайсаров (1782—1813) был близким другом Жуковского и принадлежал к так

<sup>1</sup> Там же, стр. 94.

<sup>2</sup> Там же, стр. 99—100.

называемому «молодому тургеневскому кружку», давшему много славных деятелей для русской литературы и общест­венности. Кайсаров вместе с А. И. Тургеневым слу­шал лекции в Геттингенском университете и со страст­ным увлечением занимался русской историей и историей славянских народов. В 1804 году он совершил, в сопут­ствии А. И. Тургенева, путешествие по славянским зе­млям; горячо интересуясь языком, словесностью и народ­ною жизнью чехов, хорватов, сербов, он глубоко сочув­ствовал их борьбе за независимость. «Главная цель моя,— писал тогда Кайсаров в одном из писем,— всегда будет славянская история вообще и язык славянский»<sup>1</sup>.

Эту цель Кайсаров преследовал всю жизнь, став у истока русского славяноведения. Слушатель знамени­того Шлецера по Геттингену, Кайсаров в том же 1804 го­ду издал большой труд на немецком языке: «Versuch einer Slavischen Mythologie» (Göttingen, 1804), переведенный по-русски под названием «Мифология славянская и рос­сийская». Это был первый русский опыт в науке славяно­ведения, вызвавший большой интерес со стороны рус­ского читателя и славянских ученых (издан дважды — в 1807 и 1810 годах). Но научные интересы Кайсарова были разносторонни, а способности его блестящи. Полу­чив от Геттингенского университета звание «доктора истории», он от Эдинбургского университета был удо­стоен звания доктора медицины. Об общественных сим­патиях Кайсарова говорит то, что его докторская дис­сертация была написана на латинском языке на самую живую и благородную тему: «Об освобождении крепост­ных в России» («De manu mittendis per Russiam servis», Göttingen, 1806): молодой ученый был сторонником уни­чтожения рабства в России.

По приезде на родину, Кайсаров получил кафедру рус­ского языка и словесности в Дерптском университете.

Очень характерно для этого ученого — гражданина, что, словно в предвиденьи грозных испытаний, ожидавших родину, он издал в 1811 году «Речь о любви к оте­честву».

<sup>1</sup> Путешествие А. И. Тургенева и А. С. Кайсарова по славянским землям в 1804 году. Под ред. В. М. Истрина. «Архив братьев Тургеневых», вып. 4, П., 1915, стр. 91.

Эту любовь Кайсаров доказал на деле, как только ударил час испытания: оставив кафедру, он вступил в военную службу и принял на себя заведывание походной типографией при главной ставке фельдмаршала Кутузова.

14 мая 1813 года А. С. Кайсаров был убит в Германии, в сражении при Ганау, при взрыве порохового ящика.

Говоря об ушедших на войну русских писателях, С. Н. Глинка, со свойственной ему скромностью, забывает упомянуть, что в числе их был его родной брат Федор Николаевич Глинка и что одному из молодых писателей С. Глинка помог поступить ратником в московское ополчение. Это был Константин Федорович Калайдович (1792—1832)<sup>1</sup>.

Будущий знаменитый славист, Калайдович к эпохе Отечественной войны успел уже развить оживленную литературно-ученую деятельность: он издал «Плоды трудов моих» (1808), первый сборник своих сочинений, преподавал русскую историю в университетском благородном пансионе, читал лекции по истории в университете, был деятельнейшим членом Общества истории и древностей российских, начал печатать, под своей редакцией, первый том издания этого Общества — «Русские достопамятности», но всю эту оживленную работу в любимой области науки Калайдович оборвал надолго, вступив в московское ополчение. Его библиотека погибла в огне московского пожара, а сам он сражался с французами в рядах армии Кутузова на всем пути от Тарутина до Орши. Калайдович оставался в рядах ополчения вплоть до его роспуска.

Калайдович из подъема народного духа в Отечественную войну вынес особую веру в творческие силы русского народа. Этою верою проникнута вся последующая литературная деятельность Калайдовича. Всего через три года после конца войны с Наполеоном он издал знаменитые «Древние российские стихотворения» Кирши Данилова (1818). Это было первое научное издание под-

<sup>1</sup> В своих «Записках» С. Глинка лишь глухо упоминает: «В числе поступивших в Московское ополчение на основании частных пособий был Калайдович» (стр. 47).

линых произведений народной поэзии, обнаруженных Калайдовичем в записи XVIII века. За «Киришею Даниловым» последовали «Памятники российской словесности XII века» (1821), «Иоани, экарх болгарский» (1824) и другие работы Калайдовича, одушевленные глубокой любовью к народному творчеству и к истории славян.

Глинка гордится участием писателей в народной войне: это участие сближает их с народом и возвышает во мнении народном самую литературу как дело писателей-граждан.

В повествовании Глинки есть герой — русский народ, отразивший всемирного завоевателя, и есть героиня — Москва, принесшая себя в жертву за народное освобождение. По тот же Глинка пишет:

«Мы не величаемся славою 1812 года... Русские не величаются силою победоносного оружия; они рады, что ими защищен край родной, и они льют слезы о бедствиях, постигших человечество».

В этих словах лучше всего выражен благородный, глубоко-человеческий патриотизм С. Глинки, доказанный им словом и делом в 1812 году.

Не мудрено, что его «Записки о 1812 годе» были в свое время крупным событием. В эпоху появления «Записок» С. Глинка находился в политической опале. Занимая должность цензора, он не раз получал от правительства Николая I кары (вплоть до ареста на военной гауптвахте) за «ослабления» писателям. Защищая интересы литературы перед министром народного просвещения кн. К. А. Ливенном, — рассказывает сам С. Глинка, — «взволнованный светлейшими кулаками министра, я, по выходе от него на улицу, кричал, что от самодурства министров будут вешивать каждый день ч е т ы р ы д ь а т ы е декабря»<sup>1</sup>. Наконец, в 1830 году, Николай I приказал уволить С. Глинку от должности цензора.

Когда «Записки о 1812 годе» были закончены, Пушкин, писавший про Глинку: «Он увлек сердца красноречием сердца»<sup>2</sup>, желал напечатать отрывки из них в своем «Современнике». «Вы первый его получите», — извещал

<sup>1</sup> С. Н. Глинка. Записки. СПб., 1895, стр. 356.

<sup>2</sup> Пушкин. Сочинения. Том 8. М.-Л., «Academia», 1956, стр. 43.

Пушкин С. Глику о своем журнале <sup>1</sup>. Появления «Записок» С. Глики ожидали с нетерпением лучшие люди эпохи, зная, что имя С. Глики дает им высокую внутреннюю достоверность. В приложенном к изданию «Записок» списке «Имен подписавшихся особ», наряду со знаменитыми участниками «чудесного похода» 1812 года, находим весь цвет русской литературы. Пушкин, Жуковский, П. Вяземский, Н. Полевой, И. Киреевский поспешили подписаться на первое издание «Записок первого ратника Московского ополчения».



<sup>1</sup> Пушкин С. Сочинения. Том III. Переписка. Под ред. В. И. Саитова. СПб., 1911, стр. 290, 291.



*А. А. Шаховской*

### III



реди русских писателей 1812 года С. Глинка был не одинок — он был лишь первым из многих поэтов, драматургов и прозаиков, ополчившихся против завоевателей не только лирою, но и мечом.

Его младший брат — Федор Николаевич Глинка (1786—1880), известный поэт, был участником еще первой войны с Наполеоном (1805—1806). Адьютант Милорадовича, Ф. Глинка участвовал в сражении под Аустерлицем. В 1808 году он издал примечательные «Письма русского офицера» об этой войне. Выйдя в отставку по слабости здоровья, Ф. Глинка живо откликнулся и на вторую войну с Наполеоном: 30 января 1807 года он был избран сотенным начальником народного ополчения.

После Тильзита Ф. Н. Глинка усиленно отдался литературной деятельности; он написал в это время, между

прочим, историческую повесть «Зиновий Богдан Хмельницкий или освобождение Малороссии». Война 1812 года застала Ф. Глинку в его имении в Смоленской губернии за литературными трудами. Ф. Глинка тотчас прервал свою литературную работу, бросил свое имение на произвол судьбы и поступил волонтером в русскую армию, отступавшую к Бородину. Вместе с армией дошел Ф. Глинка до Тарутина. Зачислившись вновь в пехотный Апшеронский полк, в котором служил раньше, Глинка вновь же был взят в адъютанты Милорадовичем. Этот боевой генерал, любимец армии, высоко ценил Ф. Глинку. С Милорадовичем Ф. Глинка совершил поход за границу, участвовал там во всех важнейших сражениях. В 1812 году Глинка был награжден орденом Владимира 4-й степени и золотой саблей за храбрость, а в 1815 году получил за военные заслуги орден Анны 2-й степени.

В 1812—1813 годах в журналах появились новые «Письма русского офицера о войне отечественной и о заграничной 1812—1813 года» Ф. Н. Глинки; позднее — в 1815—1816 годах — они были выпущены отдельной книгой. Книга Ф. Н. Глинки была одною из самых читаемых книг в России в эпоху борьбы и победы над Наполеоном; Ф. Н. Глинка находил себе читателей всюду: от московских гостиных до изб крепостных грамотеев.

Как вспоминает Н. В. Путьята, «Письма эти по появлении своем имели блистательный успех; они с жадностью читались во всех слоях общества, во всех концах России. Красноречивое повествование о свежих еще, сильно волновавших событиях, живые яркие картины, смело нарисованные в минуту впечатлений, восторженная любовь ко всему родному, отечественному и к военной славе, все в них пленяло современников. Я помню, с каким восторгом наше, тогда молодое, поколение повторяло начальные строки письма от 29 августа 1812 года: «Застонала земля и пробудила спавших на ней воинов. Дрогнули поля, но сердца покойны были. Так началось беспримерное сражение Бородинское»<sup>1</sup>.

Подобные отзывы о «Письмах» Ф. Глинки не редки в воспоминаниях, относящихся к 1812 году. Будучи с рус-

<sup>1</sup> «Русский биографический словарь». Том «Герберский—Гогенлоэ». М., 1916, стр. 300.

скими войсками в Германии, Ф. Н. Глинка доставил своим «Письма» великому Гете с надписью:

Средь бранного волнения,  
Среди гремящих битв, где смерть в полях живет,  
Возрос сей слабый цвет! —  
Да удостоится он твоего взавренья<sup>1</sup>.

Книга Ф. Глинки сохранилась в личной библиотеке Гете в Веймаре.

Много лет спустя, по случаю открытия в 1839 году памятника на месте Бородинской битвы, Ф. Н. Глинка издал «Очерки Бородинского сражения» (М., 1839).

Между появлением «Писем офицера» и изданием «Очерков Бородинского сражения» Ф. Н. Глинке довелось испытать много в своей жизни. «Великодушный гражданин», Ф. Глинка на деле оправдал это определение, данное ему Пушкиным в послании к нему (1822): он стоял в первых рядах русской общественности 1820-х годов, был одним из виднейших деятелей Союза Благоденствия. Ф. Н. Глинка рано оценил гений Пушкина; когда ему, как председателю Вольного общества любителей словесности, наук и художеств, заметили, что юного Пушкина надлежало бы избрать в члены общества, Глинка ответил: «Овцы стадаются, а лев ходит один». В свою очередь Пушкин и в зрелые годы ценил дарование Ф. Глинки, утверждая: «Из всех наших поэтов Ф. Н. Глинка, может быть, самый оригинальный»<sup>2</sup>.

После 14 декабря Ф. Н. Глинка был арестован по делу декабристов и сослан в Петрозаводск. Возвращенный впоследствии из ссылки, он оставался на плохом счету у Николая I.

В «Очерках Бородинского сражения», как и в «Письмах офицера», Глинка — все тот же: он восторженный ценитель подвигов и а р о д а в Отечественную войну.

В. Г. Белинский посвятил «Очеркам Бородинского сражения» большую статью, в которой, отмечая «благородную простоту и поэтическую живость слога» Ф. Глинки, утверждал: «Это книга народная, в полном значении этого слова, потому что при великой важности содержания

<sup>1</sup> С. Дурьялин. Русские писатели у Гете в Веймаре. «Литературное наследство», 1932, кн. 4—6, стр. 265, 266.

<sup>2</sup> Пушкин. Сочинения. Том 8. М.-Л., «Academia», 1936, стр. 74.



она всем равно доступна». Повествуя о народном подвиге, совершенном при Бородине, книга Ф. Глинки, утверждал Белинский, «вознесет вас в ту превыспреннюю сферу, где ваши головы не кружат ядовитые и смрадные испарения мелкого эгоизма, жалких забот о своей личности и низких нужд жизни; возведет вас на ту высокую гору, с которой исчезает все мелкое и ежедневное».

В доказательство своей мысли Белинский приводит отрывок из книги Ф. Н. Глинки, изображающий «торжественные минуты народной жизни, когда исчезают люди и является только народ»:

«Рокот барабанов, резкие звуки труб, музыка, песни и крики несвязные (приветный клич войска Наполеону) слышались у французов. Священное молчание царствовало в нашей линии. Я слышал, как квартирьеры громко зывали к порции: «Водку привезли! Кто хочет, ребята, ступай к чарке!» Никто не шелохнулся. По местам вырывался глубокий вздох и слышались слова: «Спасибо за честь! не к тому изготовились; не такой завтра день!» И с этим многие старики, освещенные догорающими огнями, творили крестное знамение и приговаривали: «Мать пресвятая богородица! помоги постоять нам за землю!»

Выписав это место из «Очерков Бородинского сражения», Белинский замечает: «Если бы в книге Глинки не было ни одного из тех достоинств, о которых будем еще говорить ниже, то за один этот факт, передаваемый ею во всеобщую известность, она достойна названия народной книги»<sup>1</sup>.

Для Белинского факт, рассказанный Ф. Глинкой, был свидетельством очевидца о том великом героизме без эффектной позы, о том геройстве без громких слов, которое было так свойственно русскому народу в 1812 году. Ф. Н. Глинка, участник Бородина, удостоверяет справедливость того описания битвы, которое дал М. Ю. Лермонтов в своем «Бородине»:

Прилеж вдремпнуть я у лафета,  
И слышно было до рассвета,  
Как ликовал француз.

<sup>1</sup> В. Белинский. Сочинения. Том I. М., изд. С. С. Мошнина, 1898, стр. 301, 303—305.

Но тих был наш бивак открытый:  
Кто кивер чистил, весь избитый,  
Кто штык точил, ворча сердито,  
Кусая длинный ус.

Показания Ф. Н. Глинки в его «Письмах» и в «Очерках» во многом сходятся с тем пониманием психологии русского народа, обороняющего свою страну, которое с такой гениальной силой отразил Лев Толстой в «Войне и мире». Свое великое историческое дело народ делал в 1812 году в мудром спокойствии, с неизменным величием внутренней тишины. — вроде той, с которою провел он, по показанию Ф. Глинки, канун небывалой в истории битвы.

Это величие внутренней тишины опиралось у русского народа на глубокое сознание высокой правды, которая в тяжбе его с Наполеоном вся и всецело была на стороне русского народа.

Подобно своему брату, С. Н. Глинке, Федор Глинка чутко понимал, что победа в борьбе с Наполеоном зависит решающим образом от народа, и умел показать, что правительство, против воли сознавая это, боится размаха народной войны. 19 июня 1812 года Ф. Н. Глинка уже отмечал: «Только и говорят о поголовном наборе, о всеобщем восстании... Но война народная слишком нова для нас. Кажется, еще боятся развязать руки»<sup>1</sup>. Поневоле развязав руки крестьянам на борьбу с Наполеоном, Александр I, как только народ-победитель изгнал Наполеона из России, поспешил опять связать эти руки: все оружие было у крестьян отобрано.

Правдивость «Писем» и «Очерков» Ф. Глинки и его особая чуткость в распознавании великой доли народа в Отечественной войне 1812 года была оценена в наши дни.

В 1941 году были переизданы его «Письма русского офицера» (с сокращениями) и его «Очерки Бородинского сражения» (отдельные части) в одной книге (Гослитиздатом). Книга эта доступна всем читателям, и потому можно ограничиться двумя-тремя выдержками из «Писем» и «Очерков» Ф. Глинки.

Наполеон в России «будет покорять только землю, а не людей» — вот основная мысль Ф. Глинки. Это оттого,

<sup>1</sup> Ф. Н. Глинка. Письма русского офицера, стр. 9.

что не император Александр I, а все «люди» русской земли до единого объявили ему войну:

«Война народная час от часу является в новом блеске. Кажется, что сгорающие села возжигают огонь мщения в жителях. Тысячи поселян, укрываясь в леса и превратив серп и косу в оружие оборонительное, без искусства, одним мужеством отражают злодеев. Даже женщины сражаются».

Наполеон стяжал себе непримиримого противника в каждом отдельном солдате, как и в целом народе.

Ф. Н. Глинка задал солдату вопрос: «Почему в Бородине дрались так храбро?» Солдат отвечал, не задумавшись: «Оттого, сударь, что тогда никто не ссылался и не надеялся на других, а всякий сам себе говорил: «Хоть все беги, я буду стоять! Хоть все сдайся, я умру, а не сдамся!»

Но то же готов был повторить каждый из сражающихся, значит, это был голос в сей армии. Наполеон рассчитывал воевать с определенным числом военачальников, но он не предполагал, что военный гений обнаружится в самом народе и что проявления этого гения будут бесчисленны и непреодолимы для знаменитого полководца. Ф. Глинка с увлечением рассказывает один из эпизодов Бородинской битвы:

«В первом периоде сражения несколько конных полков французских вдруг заскакало в тыл 6-му и 7-му корпусам. Линия казалась разорванной, но полки Дохтурова и Раевского несколько не смешались — им пришла самая простая естественная мысль: «Неприятель сзади, повернется наизнанку, станем бить по передним — с передних, по задним — с задних фасов!» И, развернув эти операции, они открыли такой огонь, что неприятель сам не знал, что с собой делать».

Ф. Глинка — в письме от 26 октября из Дорогобужа — с суровой силой описывает трагический финал, постигший завоевателя:

«Они валялись в великом множестве мертвыми, умирающими или в беднейших рубищах, окровавленные ползли по грудам конских и человеческих трупов».

В необозримой мемуарной литературе о 1812 годе и наполеоновских войнах «Письмам» и «Очеркам» Ф. Н. Глинка принадлежит одно из первых мест. Если в самую эпоху этой войны «Письма» эти захватывали

современника искренней верой в оборонительные силы русского народа и поднимали дух читателей, то и до нашего времени сохранили они эту силу убежденной веры в историческую правоту своего народа, обороняющего родину. «Ф. Глинка прав», — скажет советский читатель, перечитывая его «Письма» и «Очерки» в дни второй Отечественной войны: русский народ был, есть и будет непобедим, когда он защищает свою землю от завоевателей, покусившихся на ее целостность и свободу.

Как Федора Глинку, двенадцатый год вернул к оружию и первого драматурга и виднейшего театрального деятеля эпохи кн. Александра Александровича Шаховского (1777—1846).

По его собственному признанию, он еще «на восемнадцатом году от рождения, не обучаясь ничему порядочно и пописывая кой-как статьи, бросился на театральное поприще». Его первая же комедия «Женская шутка» имела немалый успех: «Меня, что тогда была редкость, вызывали, но, к счастью, комедия моя дана была в 1796 году, и распых моего авторства был притушен требованием службы. Перо заменилось ружьем»<sup>1</sup>. По выходе в отставку, Шаховской предался всецело своей страсти к театру: официально занимая (с 1801 года) место «репертуарного члена» при дирекции петербургских театров, он был одновременно и драматургом, и режиссером, и учителем актеров, и одним из издателей «Драматического вестника». Говоря о петербургском театре, Пушкин указывает как на славную его принадлежность:

Там вывел колкий Шаховской  
Своих комедий шумный рой.

В самом преддверии войны с Наполеоном, 15 мая 1812 года, Шаховской поставил свой исторический «водевиль» «Казак-стихотворец», действие которого происходит после победы Петра I над Карлом XII под Полтавой. Один из героев «водевиля» произносит патристические стихи, в которых, славя Петра I за то, что «он в сраженьи первый воин», возглашает про «русского» человека, что он —

Кроток в мире, а средь бою  
Страшен, пагубен врагам.

<sup>1</sup> Б. В. Варнеке. История русского театра. Изд. 2, 1915, стр. 329.

Стихи эти, в канун нашествия Наполеона, звучали с особой силой, и «Казак-стихотворец» имел неслыханный успех в течение всех войн 1812—1815 годов. Патристические куплеты из «Казака-стихотворца» были у всех на устах и перешли в народ. Шаховской мог быть доволен оборонным звучанием своей последней пьесы, но этого ему было мало. Он «оставил на время жрецов Талии и Мельпомены, воспылав желанием отличиться в рядах храбрых, и поступил на службу в Тверское ополчение»<sup>1</sup>. Он принял начальство над одним из полков, участвовавших в военных действиях в окрестностях Москвы, и «он первый вступил со своим отрядом в октябре в оставленную Наполеоном Москву». В Москве Шаховской до приезда Ростопчина занимался приведением в возможный порядок полуразрушенной столицы. Непосредственным результатом походной жизни Шаховского была его народная опера «Крестьяне или встреча незваных». «Шаховской во время своего странствования по окрестностям Москвы насмотрелся на многие схватки, происходившие между нашими крестьянами и неприятельскими солдатами, и мастерски изобразил во «Встрече незваных» некоторые сцены, свидетельствовавшие о характере русского народа»<sup>2</sup>. Одно из действующих лиц пьесы Шаховского, ополченец, обращается к Пожарскому, Мишину и другим народным героям со словами:

Вы живы, мужи незабвенны!  
Ваш дух живет в сердцах у нас;  
Губители, во прах сраженны,  
В россиянах познали вас!  
Вадремал ваш дух среди ноков,  
Но грянул гром, и он воскрес!  
Россию поддержал средь боя.

Особенно удался Шаховскому образ молодого деревенского парня Вани, рассказывающего о жаркой «встрече», устроенной крестьянами «незванным» гостям под Москвою. «Крестьяне» Шаховского, впервые исполненные на сцене 23 ноября 1813 года, вызвали настоящий восторг у зрителей и долго не сходили с репертуара.

<sup>1</sup> И. Аранов. Летопись русского театра. СПб., 1861, стр. 217.

<sup>2</sup> Там же, стр. 217, 230, 231.

Это было первое запечатление на театре того, что так восторгало всех в жизни: победы, увенчавшей народную войну.

Подобно Шаховскому, принял участие в Отечественной войне другой видный драматург первой половины XIX столетия — Николай Иванович Хмельницкий (1791—1845), один из потомков славного украинского гетмана Богдана Хмельницкого. Первый литературный опыт Хмельницкого относится еще к 1806 году. Литературная же и театральная известность Хмельницкого началась с его комедии «Говоруны» (1817), написанной легкими разговорными стихами. Пушкин, с которым Хмельницкий был знаком еще в его лицейские годы, прочитав в михайловской ссылке, в альманахе «Русская Галия», отрывки из новых комедий Хмельницкого: «Нерешительный» и «Суженого конем не объедешь» и из его перевода «Школы женщины» Мольера, писал брату: «А Хмельницкий мой старинная любовница — я к нему имею такую слабость, что готов поместить в честь его целый куплет в 1-ю песнь Онегина»<sup>1</sup>. Грибоедов так же высоко ценил дарование Хмельницкого и был соавтором с ним и с А. А. Шаховским в комедии «Своя семья» (1817).

Война 1812 года заставила Хмельницкого покинуть министерство юстиции, где он служил, и поступить в истринское ополчение, начальником которого был избран М. И. Голенищев-Кутузов, будущий победитель Наполеона, бывший тогда не у дел благодаря нерасположению к нему Александра I. Кутузов взял Хмельницкого к себе адъютантом. Когда Кутузов был назначен главнокомандующим действующих армий, Хмельницкий остался в адъютантах при заместителе Кутузова по ополчению, генерале Меллер-Закомельском.

Хмельницкий проделал всю заграничную кампанию 1813—1814 годов, принимал участие в сражениях при Дрездене и Лейпциге и после боев под Парижем вместе с русскими войсками вошел в столицу Франции.

Только по окончании войны возвратился Хмельницкий

<sup>1</sup> Пушкин. Письма. Ред. Б. А. Модзалевского. Том I. М.-Л., 1926, стр. 127.

к службе в министерстве юстиции и к занятиям литературным.

Из русских драматургов в Отечественной войне принял еще участие Павел Александрович Катенин (1792—1853). Пушкин, ценя критический вкус Катенина и его драматическое дарование, счел долгом упомянуть о нем в строфе, посвященной в «Евгении Онегине» петербургскому театру:

Там наш Катенин воскресил  
Корнеля гений величавый.

Деятельность драматурга юноша Катенин начал с большим успехом в 1811 году, поставив в бенефис знаменитой Е. С. Семеновой свой перевод трагедии Расина «Ариадна».

1812 год оторвал Катенина от театра. В чине портупей-прапорщика он вместе с гвардейским Преображенским полком участвовал в военных действиях против Наполеона.





*М. Н. Загорский*

#### IV



**А**лексей Алексеевич Перовский (1787—1836), писавший под псевдонимом «Антон Погорельский», принадлежал к небольшому числу «счастливых» среди русских писателей. Сын графа Алексея Кирилловича Разумовского, занимавшего в Отечественную войну пост министра народного просвещения, он получил блестящее образование; питомец московского университета, он в 1807 году возведен был в ученую степень доктора философии и словесных наук и в следующем году прочел три пробные лекции для утверждения в этой степени. Перовский был одним из основателей Общества любителей российской словесности в Москве и сблизился с первыми поэтами эпохи — Жуковским и Вяземским. В 1812 году Вяземский обратился к Перовскому с дружеским анакреонтическим посланием:



Прости, шалун любимый!  
Да Гений добрый твой,  
Хранитель твой незримый,  
Отправится с тобой!..

В послании, напутствующем Перовского в зимнее путешествие по России, Вяземский предвещал его:

Свирепые морозы  
Ручья сковали бег,  
И, где атели розы,  
Белснет ныне снег.  
Но против вьюг, метелей,  
Морозов и снегов,  
Бог милостивый хмеля,  
Да будет твой покров!<sup>1</sup>

Напутствуя так Перовского на зимний путь, Вяземский не подозревал, что скоро Перовскому придется встретиться с русскими «вьюгами, метелями и морозами» совсем в других условиях.

Война 1812 года застала Перовского в Петербурге, где он занимал видное место секретаря министра финансов «от департамента внешней торговли». Патриотический порыв тотчас же превратил доктора философии и секретаря министра финансов в воина: 10 июля Перовский вступил штаб-ротмистром в 3-й Украинский полк и больше года не разлучался с боевым конем и оружием. Перовский, как отличный кавалерист, принимал деятельное участие в партизанских действиях, которые, по тогдашней официальной военной терминологии, назывались «авангардными и арьергардными делами». Но — как свидетельствует служебный формуляр Перовского — он, «кроме многих авангардных и арьергардных дел, находился в действительных против неприятеля сражениях 1812 года: октября 26-го под местечком Морунгеном, октября 28-го под местечком Лосецы; 1813 года: августа 13-го, 14-го и 15-го в сражениях под Дрезденом, августа 17-го и 18-го в сражениях при Кульме»<sup>2</sup>.

Когда, после «битвы народов» под Лейпцигом, русскими войсками были заняты владения саксонского короля, сражавшегося на стороне Наполеона против союз-

<sup>1</sup> П. А. Вяземский. Избранные стихотворения. М.-Л., «Academia», 1935, стр. 71.

<sup>2</sup> Русский биографический словарь. Том: «Павел преподобный — Петр (Илейка)». СПб., 1902, стр. 526.

ников, с их столицею Дрезденом, А. А. Перовский был назначен (8 октября ст. ст. 1813 года) старшим адъютантом при генерал-губернаторе Королевства Саксонского — кн. Н. Г. Репнине (брат декабриста С. Г. Волконского). Недавний участник партизанских действий в русских лесах и снегах, Перовский занял теперь должность, требовавшую от него большого дипломатического такта и тонкого понимания политического положения. Перовский обнаружил то и другое: великолепно владея языком страны (первая лекция Перовского в московском университете была прочитана и издана на немецком языке), с юности умея ценить немецкую литературу и философию, Перовский проявил в своей ответственной должности много внимания и уважения к справедливым интересам страны и народа, вовлеченных их королем в насильственное верноподданничество Наполеону и принужденных за это выносить тяготу военной оккупации.

Перовский в течение почти двух лет нес свою трудную службу в Саксонии и немало содействовал тому, что тягота временной русской оккупации явилась для населения гораздо более легкой, чем бремя «союзнчества» их короля с Наполеоном.

Служа в 1813—1815 годах в Дрездене, Перовский, кроме прекрасного исполнения своих военно-административных обязанностей, с жаром отдался усвоению сокровищ искусства и поэзии. Будущий автор «Монастырки» встретился в Дрездене со знаменитым романтиком Э.-Т.-А. Гофманом, который в 1813—1815 годах служил капельмейстером в драматическом театре<sup>1</sup>. В эти годы Гофман написал лучшие свои новеллы «Золотой горшок», «Автомат», «Эликсир сатаны». Знакомство с Гофманом оказало сильное воздействие на Перовского: «Антон Погорельский» в своих творениях соединяет романтику Гофмана с прекрасной ясностью прозаиков школы Пушкина. Великий поэт еще в 1820 году с признательностью отнесся к критическим замечаниям Перовского о «Руслане и Людмиле», а в 1825 году Перовский-Погорельский был уже автором повести «Лафертовская маковница», вызвавшей восторженный отзыв Пушкина: «Что за пре-

<sup>1</sup> А. И. Кирпичников. Очерки по истории новой русской литературы. Том I. Изд. 2. М., 1903, стр. 96.

лесть — Бабушкин кот! я перечел два раза и одним духом всю повесть, теперь только и брежу Тр. Фил. Мурлыкиным»<sup>1</sup>.

Перовский покинул Дрезден и вышел в отставку лишь после того, как с Наполеоном было покончено навсегда: в 1815 году, и больше никогда уже не вступал в военную службу.

1812 год был рубежом в жизни и другого видного прозаика пушкинской эпохи — Михаила Николаевича Загоскина (1789—1852).

Война застала его так же, как и Перовского, в Петербурге, где он, только еще автор никому не известных литературных опытов, служил в Департаменте горных и соляных дел.

«Загорелась Отечественная война,— рассказывает друг и биограф Загоскина, С. Т. Аксаков,— и Загоскин, оставив статскую службу, записался 9 августа в петербургское ополчение... Кто знал Загоскина хотя не в молодых годах, тот может судить, каким пылким молодым человеком был он на двадцать четвертом году своей жизни, когда вступил в ряды петербургского ополчения, в корпус графа Витгенштейна. С детских лет, имея по преимуществу русское направление и пылкую натуру, он горел нетерпением запечатлеть кровью свою горячую любовь к отчизне; в сражении под Полоцком он был ранен в ногу и получил за храбрость орден Анны 4-й степени на шпагу. По излечении раны он возвратился к своему полку и по желанию графа Левиса был назначен к нему адъютантом; в этой должности находился он до сдачи Данцига, то есть до окончания войны. С прекрасной наружностью, внушавшей расположение и доверенность, вспыльчивый, живой, откровенный, добрый и постоянно веселый Загоскин был любим товарищами и всеми его окружавшими. Истинный русак, исполненный добродушного комизма, он имел множество самых смешных столкновений с немцами в продолжение долгой осады Данцига... Некоторые происшествия, описанные Загоскиным в четвертом томе «Рославлева», действительно случились с ним самим или с другими его сослуживцами при осаде Данцига.

<sup>1</sup> Пушкин. Письма. Том I, стр. 125.

После сдачи Дамцига ополчение было распущено, и Загоскин, не желая продолжать военной службы, отправился в Россию, на свою родину, в Пензенскую губернию, где обратился снова к прежним, дорогим его сердцу, занятиям: чтению и сочинению»<sup>1</sup>.

Свои впечатления, вынесенные из участия в Отечественной войне, Загоскин отразил в своем втором историческом романе «Рославлев или русские в 1812 году» (1831). Это было первое по времени обширное художественное повествование, посвященное Отечественной войне, и замечательно, что Загоскину мало удалось все то, что относится к первому заглавию романа — к его герою Рославлеву, и, наоборот, удалось все, что относится ко второму заглавию: «Русские в 1812 году». Как характеризует роман Загоскина современный исследователь, в нем «проходят сцены не только военные, но и мирные: помещичья жизнь с ее шумными обедами, разными развлечениями, охотой — и тут же народное возбуждение, военные события... Россия при французах и заграничные походы — все это связывалось в весьма стройную цепь событий, весьма искусно скованных любовной фабулой о судьбе героя, душевная жизнь которого была разбита девушкой, полюбившей врага своей родины. Многие типы очерчены прекрасно, некоторые сцены, например, пожар Москвы, прямо драматичны, множество людей разного звания, взглядов схвачены очень живо, и шумная эпоха в столицах и деревне, на биваках и в барском именье встает в романе Загоскина, сохраняя историческое правдоподобие»<sup>2</sup>.

Если таково прямое отражение Отечественной войны во втором романе автора-ополченца 1812 года, то не менее сильно было, еще не отмеченное исследователями, косвенное отражение этой войны в первом — и лучшем — романе Загоскина: «Юрий Милославский или русские в 1612 году». Роман этот, появившийся в 1829 году, имел беспрецедентный успех, составил эпоху в истории русского исторического романа и без малого на целое

<sup>1</sup> С. Т. Аксаков. Литературные и театральные воспоминания. П., 1918, стр. 208, 209.

<sup>2</sup> Н. Бродский. Из литературных отражений Отечественной войны. Сб. «Отечественная война и ее причины и следствия». М., 1912, стр. 177.

столетие стал народной книгой. Будущий автор «Капитанской дочки», давая оценку роману Загоскина, писал: «Загоскин точно переносит нас в 1612 год. Добрый наш народ, бояре, казаки, монахи, буйные шиши — все это угадано, все это действует, чувствует, как должно было действовать, чувствовать в смутные времена Минина и Авраамия Палицына. Как живы, как занимательны сцены старинной русской жизни! сколько истины и добродушной веселости в изображении характеров Кириши, Алексея Бурнаша, Федьки Хомяка, пана Копычинского, батьки Еремея!»<sup>1</sup>

Пушкин хвалит Загоскина за правдивость и живость народных сцен и типов и ни слова не уделяет бледному герою романа. Иными словами, и в первом романе, как во втором, Загоскину по-настоящему удалось то, что относится ко второму заглавию: «Русские в 1612 году». Причина понятна: своих героев — и Милославского, и Рославлева Загоскин измышлял по романтическому трафарету, а «Русских» — крестьян, казаков, солдат — писал по тем живым и правдивым наблюдениям и впечатлениям, которые вынес из боевого товарищества с ними в 1812 году. «Русские в 1612 году», когда они обороняли свою страну от интервенции западных держав, были понятны и близки Загоскину потому, что он сам был в числе «русских в 1812 году», также оборонявших свой родной край от завоевателя с Запада. Не мудрено поэтому, что в обоих романах своих Загоскин мог с такой правдой и живостью изобразить «добрый наш народ», как выразился Пушкин, в его повседневной жизни и героической борьбе.

«Юрий Милославский» и «Рославлев» написаны автором по живым впечатлениям от войны 1812 года. Вот почему они сохранили свой интерес донныне и, при весьма различной художественной ценности, обеспечили Загоскину место в истории русской литературы.

Упомянем еще о трех писателях, ушедших в ряды армии в 1812 году.

Автор «Послания к Сперанскому об истинном благородстве» (1806), будущий сатирик «Дома сумасшедших», Александр Федорович Воейков (1778—1839),

<sup>1</sup> Пушкин. Сочинения. Том 8. М.-Л., «Academia», 1936, стр. 59.

товарищ Жуковского по университетскому благородному пансиону, вступил в армию и вышел в отставку не прежде, чем Наполеон был изгнан из пределов России.

В начале 1814 года Жуковский обратился к Воейкову с посланием, в котором писал:

Ты был под знаменами славы;  
Ты видел, друг, следы кровавы  
На Русь нахлынувших врагов,  
Их казнь и ужас их побега;  
Ты, строя свой бивак из снега,  
Себя смиренью научал  
И, хлеб водою запивая,  
«Хвала, умеренность золотая!»  
С певцом тибурским восклицал<sup>1</sup>.

Писательское имя Авраама Сергеевича Норова (1795—1869) ныне забыто, но в свое время оно пользовалось известностью. С 1813 года Норов печатал свои стихи и переводы с итальянского в альманахах и журналах, в том числе в «Полярной звезде» А. Бестужева и Рылеева. В 1821 году Норов совершил первое свое путешествие по Европе, в 1830—1840 годах он приобрел себе широкий круг читателей своими путешествиями по Азии и Африке; переизданные в 1853—1854 годах в пяти томах, «Путешествия» доставили Норову кресло академика.

Семнадцатилетний Норов поспешил принять участие в Отечественной войне, и ему под Бородиным оторвало ядром левую ногу. Это давало право П. А. Вяземскому сказать про Норова, когда он был в 1854—1858 годах министром народного просвещения: «Он не имеет блестящих способностей Уварова, но... чище и благороднее душою и тверже на одной ноге своей, нежели тот был на двух»<sup>2</sup>.

В 1827 году Норов, как знаток европейских языков, был прикомандирован к начальнику русской эскадры, помогавшей грекам в их борьбе за независимость. После Наваринской победы Норов возвращался в Россию

<sup>1</sup> Римский поэт Гораций, обладавший поместьем в Тибуре, в Италии.—В. А. Жуковский. Полное собрание сочинений под ред. А. С. Архангельского. Том II. СПб., 1902, стр. 33.

<sup>2</sup> П. А. Вяземский. Полное собрание сочинений. Том X. СПб., 1886, стр. 115.

через Германию и, будучи в Веймаре, посетил Гете и рассказывал ему о Бородинской битве. 31 октября 1827 года Гете записал в своем дневнике: «Норов, офицер эскадры, которая возвратилась в Россию. Потерял в битве под Москвою левую ногу»<sup>1</sup>.

При появлении «Войны и мира» Л. Н. Толстого Норов выступил со статьей «Война и мир» 1805—1812 с исторической точки зрения и по воспоминаниям современника» (СПБ., 1868).

Не имея никакого значения как разбор гениальной эпопеи Льва Толстого, статья Норова свидетельствует, что и до глубокой старости ее автор сохранил горячие и благодарные воспоминания о своем юношеском участии в Отечественной войне.

Вспоминая писателей — участников борьбы с Наполеоном, справедливо извлечь из забвения имя Николая Васильевича Неведомского (1791—1853).

«Чиновник Неведомский, хромой пиита, над которым беспрестанно подтрунивали товарищи, называя его пиитом Вулканом», — таким является Неведомский в насмешливой записи С. П. Жихарева (1809) в его «Дневнике чиновника»<sup>2</sup>. Но наступил 1812 год — и этот чиновник, мирно писавший басни, нашел в себе силы выйти из-за канцелярского стола и ринуться в борьбу за родину. Баснописец, он издал свое обращение «К русским на всеобщее вооружение» (СПБ., 1812) и сам первый последовал своему призыву: Неведомский поступил корнетом во 2-й волонтерный казачий барона Боденского полк и принял самое живое боевое участие в делах с французами в России и за границей. «Хромой пиита» выделялся храбростью и отвагой в партизанских налетах на французов. Когда отважнейший из партизан — знаменитый А. С. Фигнер, действуя в Германии, сформировал отряд из испанцев, насильно завербованных Наполеоном, и из немецких волонтеров, в этот «легион мести», как его основное партизанское ядро, вошла сборная команда из гусарских и казачьих полков; в составе этой команды мастеров партизанского дела был Неведомский. В сентябре 1813 года

<sup>1</sup> С. Дурыйлин. Русские писатели у Гете в Веймаре. «Литературное наследство», 1932, кн. 4—6, стр. 262.

<sup>2</sup> С. П. Жихарев. Записки современника. Том. II. М.-Л., «Academia», 1934, стр. 248.

Фигнер с «легионом мести» действовал на берегах Эльбы. Он намеревался поднять население Вестфалии против Наполеона. 30 сентября, близ Дессау, небольшой отряд Фигнера, в котором находился Неведомский, был обойден авангардом корпуса маршала Нея и прижат к Эльбе. Фигнер, собрав офицеров, сказал: «Мы окружены, надобно пробиться; если неприятель разорвет наши ряды, то уж больше не думайте обо мне, спасайтесь врассыпную». Героический отряд прокладывал себе дорогу штыками и пиками, пытаясь прорваться через плотные ряды неприятеля, но был притиснут к самому берегу широкой реки. Большая часть офицеров и солдат были перебиты. Остальные — в их числе Фигнер и Неведомский — бросились в реку, осыпаясь дождем неприятельских пуль. Фигнер погиб, не достигши берега; Неведомский был ранен и взят в плен. Освободившись из плена, он в 1815 году, в чине поручика, вступил в гусарский принца Оранского полк. Прodelав все походы 1812—1815 годов против Наполеона, Неведомский лишь в 1821 году оставил военную службу. Но как писатель продолжал жить ее впечатлениями в книгах «Воин-поэт» (М., 1819) и «Партизаны. Описательная поэма» (СПБ., 1829).

Участник партизанских действий, Неведомский с особым интересом относился к героям и подвижникам партизанской войны против Наполеона в России и Испании. В 1840-х годах Неведомский поместил в «Современнике» П. А. Плетнева ряд живых, сочувственных статей о партизанской войне: «Поэзия партизанской войны», «Последнее сражение Фигнера», «Отрывки из истории партизанов Пиренейского полуострова», «Начальники Гверильясов», «Три последние главы из истории Гверильясов» и другие.

Писатели, о которых выше шла речь, принадлежали к разным литературным школам, но их отклик на нашествие Наполеона был одинаков: они брались за оружие.

Один из старейших русских писателей, глава целой литературной школы «архаистов», Александр Семенович Шишков (1754—1841) сражался с Наполеоном иным способом.

Первое десятилетие XIX века вице-адмирал Шишков, стоя в стороне от государственной деятельности, был за-



нят оживленной и ожесточенной борьбой с Карамзиным и с его сторонниками. Реформа литературного языка, произведенная автором «Писем русского путешественника», его деятельность как издателя «Вестника Европы», стремившегося сблизить русских писателей с литературным движением современной Европы, казалась Шишкову проявлением чуть ли не революционных начал, покушающихся на самые твердыни русской государственности и народности (в числе этих твердынь Шишков признавал и крепостное право). В 1803 году вышло главное сочинение Шишкова — «Рассуждение о старом и новом слоге российского языка», направленное против «нового слога» Карамзина и его последователей; книга эта вышла не только под знаком литературного старостерства, но и политической реакции. «Презрение к вере стало сказываться в презрении к языку славенскому, — утверждал Шишков. — Здравое понятие о словесности и красноречии превратилось в легкомысленное и ложное; сила души, высота мыслей, приличие слов, чистота нравственности, основательность и зрелость рассудка, все сие приносилось в жертву какой-то легкости слога, не требующей ни ума, ни знаний». Во всем этом Шишков видел «следы языка и духа чудовищной французской революции»<sup>1</sup>. «Новый слог», по мнению Шишкова, — литературный предвестник революции: новое слово несет в себе новое понятие, а новое понятие колеблет твердыню старого патриархально-монархического строя.

В 1810 году Шишков стал во главе общества «Беседа любителей русского слова», целью которого было вести борьбу с «новым слогом», понимаемым в том особом смысле, о котором только что сказано. Но этой чисто реакционной задачей не исчерпывалась деятельность Шишкова и основанной им «Беседы».

В деятельности этой были и другие стороны: Шишков всячески взывал к изучению древнерусской народной словесности, был восторженным ценителем и одним из первых исследователей «Слова о полку Игореве», был горячим сторонником сближения России со славянским

<sup>1</sup> «Записки, мнения и переписка адмирала А. С. Шишкова». Т. II. Изд. Н. Киселева и Ю. Самарина. Berlin, 1870, стр. 5.

миром, видя в этом сближении залог культурного процветания и политической силы России.

В 1811 году — в самой преддверии войны с Наполеоном, которую Шишков считал, вопреки мнению придворных кругов, неизбежной для России, он издал свое «Рассуждение о любви к отечеству». Оно произвело сильное впечатление во всех кругах общества: Шишков как бы давал понять, что скоро от русского народа потребуются великая сила «любви к отечеству», чтобы сохранить самое бытие этого отечества.

Впечатление было так велико, что Александр I, не любивший Шишкова, но умевший (как это было и при назначении Кутузова главнокомандующим в 1812 году) прислушиваться к широкой общественной молве, призвал к себе Шишкова, бывшего «не у дел», и сказал ему: «Я читал ваше рассуждение о любви к отечеству; имея такие чувства, вы можете быть ему полезны. Кажется, у нас не обойдется без войны с французами, нужно сделать рекрутский набор, я бы желал, чтобы вы написали о том манифест».

Александр I — при всей его боязни массового вооружения крепостного крестьянства — понимал, что при надвигающейся войне с Наполеоном ему не обойтись без широкой помощи народа, и чувствовал, что у него нет языка, на котором он мог бы говорить с этим народом: казенный бюрократический язык обычных манифестов и указов был явно не пригоден для обращения к народу, поневоле призываемому к великому историческому делу. Вот почему Александру, думавшему и писавшему по-французски лучше, чем по-русски, понадобился Шишков, писавший о «Слове о полку Игореве».

Шишков был назначен государственным секретарем. Он был автором всех манифестов, грамот и указов, обращенных от имени Александра I к народу, войску и героям войны.

Вот как кончается писанный Шишковым «Приказ нашим армиям», данный Александром I/13 июня 1812 года в Вильне в ответ на «Воззвание» Наполеона к армии, возвещающее войну с Россией: «Не нужно мне напоминать вождям, полководцам и воинам нашим о их долге и храбрости. В них издревле течет громкая победами

кровь славян. Воины! Вы защищаете Веру, Отечество, Свободу. Я с вами. На зачинающего бог»<sup>1</sup>.

Понятно, что Шишков, как государственный секретарь, был нужен Александру лишь до тех пор, пока император нуждался в прямой помощи общества: когда Наполеон был побежден и Александру говорить с народом было уже не о чем, а можно было попрежнему отдавать приказы обычным бюрократическим языком, Шишков был освобожден от должности государственного секретаря.

Манифесты, писанные Шишковым, несмотря на их монархический характер, имели положительное значение в деле мобилизации масс на борьбу с иностранным нашествием. О впечатлении, которое эти манифесты производили на современников, свидетельствует С. Т. Аксаков: «В Москве и в других внутренних губерниях России, в которых мне случилось в то время быть, все были обрадованы назначением Шишкова, писанные им манифесты действовали электрически на целую Русь. Несмотря на книжные, иногда несколько напыщенные выражения, русское чувство, которым они были проникнуты, сильно отзывалось в сердцах русских людей»<sup>2</sup>.

Как лучшая оценка лучшей поры деятельности Шишкова — под его бюстом в Российской академии, которой он был президентом, были написаны золотом два стиха А. С. Пушкина:

Сей старец дорог нам; он блещет среди народа  
Священной памятью двенадцатого года.

<sup>1</sup> «Приказ» см. в сборнике: «Россия и Наполеон». М., 1912, стр. 42, 43.

<sup>2</sup> С. Т. Аксаков. Полное собрание сочинений. СПб., 1914, стр. 769. Одним из свидетельств необыкновенного успеха манифестов и указов, писанных Шишковым, является то, что потребовалось их особое неофициальное издание. В 1816 году вышло в Петербурге «Собрание высочайших манифестов, грамот, указов и проч. 1812—1816 г. Издал А. С. Шишков». Читатель покупал эту книгу, в ее издательстве ценя ее автора.



*Д. В. Давыдов*

## V



амым прославленным из писателей — участников борьбы России с Наполеоном — был Денис Васильевич Давыдов (1784—1839) — поэт, высоко ценимый Пушкиным и всем поколением русских людей, выросших под шум грозы 1812 года.

В конце 1806 года, при первой вести о том, что Россия вновь начинает войну с Наполеоном, двадцатидвухлетний гусарский поручик Давыдов явился в четыре часа ночи к фельдмаршалу гр. М. Ф. Каменскому и потребовал, чтоб его допустили к главнокомандующему. Настойчивость поэта-поручика была так велика, что старый фельдмаршал поднялся с постели, вышел к нему, и поручик Давыдов покинул приемную фельдмаршала не прежде, как заручился его согласием на назначение в действующую армию. Давыдов был назначен адъютантом

к кн. П. И. Багратиону, командовавшему авангардом: Давыдов страстно желал участвовать в передовых, непрестанных стычках с неприятелем. В военном деле Давыдов обнаружил ту же неуемную удасть, ту же неукротимую стремительность, которая свойственна его стихам.

Чем сильнее была опасность, тем превосходней чувствовал себя Давыдов в бою. О кровопролитном сражении при Прейсиш-Эйлау (26, 27 января 1807 г.), когда у русских было ранено и убито до 26 000 человек, а у французов еще более, Давыдов, бывший при Багратионе в самых опасных местах, писал: «Чорт знает, какие тучи ядер пролетали, гудели, сыпались, прыгали вокруг меня, рыли по всем направлениям сомкнутые громады войск наших и какие тучи гранат лопались над головою моею и под ногами моими! То был широкий ураган смерти, все вдребезги ломавший и стиравший с лица земли все, что ни попадало под его сокрушительное дыхание»<sup>1</sup>.

За отличие в сражениях одного 1807 года Давыдов получил три награды: орден Владимира 4-й степени с бантом, Анны 2-й степени и золотую медаль с надписью: «За храбрость».

Между 1807—1812 годом Давыдов успел стать участником еще двух войн: Шведской (1808—1809) и Турецкой (1810).

Новая война с французами вновь посадила Давыдова на коня, а новый характер, который приобрела борьба России с Наполеоном, заставил Давыдова по-новому принять в ней участие. Давыдов раньше других понял отличие войны 1812 года от прежних войн с Наполеоном: то были походы русской армии в Австрию и Пруссию для военных действий против французского императора, теперь началась народная война против врага, вторгшегося в пределы России. Давыдов захотел отдать все силы именно народной войне. За пять дней до Бородинского сражения он сообщил Багратиону свои мысли о партизанской войне и, поддержанный Багратионом, стал первым организатором партизанских действий в ближайшем тылу неприятеля. Давыдов, как редко кто другой, понимал все роковое значение, которое

<sup>1</sup> Денис Давыдов. Военные записки. М., 1940, стр. 83, 84.

должен иметь для Наполеона неуловимый, непрерывный, повседневный натиск партизан на его отряды, военные транспорты и коммуникационные пути, — натиск, сделавшийся всенародным.

В своем «Опыте теории партизанского действия» Денис Давыдов так определял сущность этой войны:

«Партизанская война состоит ни в весьма дробных, ни в первостепенных предприятиях, ибо занимается не сожжением одного или двух амбаров, не сорванием пикетов и не нанесением прямых ударов главным силам неприятеля. Она объемлет и пересекает все протяжение путей от тыла противной армии до того пространства земли, которое определено на снабжение ее войсками, пропитанием и зарядами, чрез что, заграждая течение источника ее сил и существования, она подвергает ее ударам своей армии обессиленною, голодною, обезоруженною и лишенною спасительных уз подчиненности. Вот партизанская война в полном смысле слова»<sup>1</sup>.

Партизан — хочет сказать Давыдов — должен быть всюду и нигде; его присутствие враг должен чутко непрерывно и безотходно, — так, как будто эти летучие войска не знали ни сна, ни отдыха, — и при всем том партизан должен быть неуловим: его жилище — на его коне, его отдых — на лету, его штаб-квартира — на седле.

Именно так всегда чувствовал неприятель в 1812 году присутствие партизан, — и прежде всего самого Дениса Давыдова. В крестьянском зинуне, с опущенной бородой, Давыдов был не столько офицером армии, сколько одним из безыменных вождей неисчислимого народного ополчения. Где он ни появлялся, не только воинский успех, но и живейшее народное сочувствие сопутствовали ему. Он великолепно умел бить французов, но еще важнее было то, что он умел поднимать на французов широчайшие массы крестьянства, у которого пользовался неограниченным доверием. Отбивая у французов оружие, Давыдов, как правило, раздавал его крестьянам и на лету умел сплачивать их в кренкие отряды, множившиеся в тылу французов не по дням, а по часам.

<sup>1</sup> Там же, стр. 419.

Вот один из эпизодов, ясно и ярко характеризующий партизанские действия Давыдова:

В самый день вступления Наполеона в Москву,— рассказывает Давыдов,— «узнав, что в село Токарево пришла шайка мародеров, мы на рассвете напали на нее и захватили в плен 90 человек, прикрывавших обоз с ограбленными у жителей пожитками». Едва покончено было с этой группой французов, Давыдову дали знать, что к Токареву приближается другой французский отряд. «Мы сели на коней, скрылись позади изб и за несколько сажень от селения атаковали его со всех сторон с криком и стрельбою, ворвались в середину обоза и еще захватили 70 человек в плен. Тогда я созвал м и р... роздал крестьянам взятые у неприятеля ружья и патроны, уговорил их защищать свою собственность и дал наставление, как поступать с шайками мародеров, числом их превышающих...»

Давыдов кратко и точно изъяснял крестьянам всю тактику и стратегию партизанской войны. Старосте Давыдов дал наказ, чтобы «всегда были готовы три или четыре парня, которые, когда завидят очень многое число французов, садились бы на лошадей и скакали бы врознь искать меня, — я приду к вам на помощь». Давыдов прибавляет: «Я не смел дать этого наставления письменно, боясь, чтобы оно не попало в руки неприятеля»<sup>1</sup>.

Неписанные «наказы» Дениса Давыдова передавались крестьянами из уст в уста и служили лучшим средством военного самообучения крестьян, укрывавшихся в смоленских, московских и калужских лесах.

Не проходило дня, чтобы отрядом Давыдова где-нибудь не была перехвачена французская эстафета, не был отбит неприятельский транспорт с оружием или обоз с награбленным провиантом. Случалось приводить в плен разом до двухсот пятидесяти человек.

Партизанский отряд, руководимый Давыдовым, с течением времени до того усилился, что под Красным взял в плен двух генералов, множество обозов и до двухсот солдат. 9 ноября Давыдов напал при Копысе на французский кавалерийский склад, охраняемый тремя тысячами человек, овладел складом и, взяв двести восемьдесят

<sup>1</sup> Там же, стр. 209, 210.

пять пленных, вплавь переправился через Днепр и выслал партии к Шклову и Староселью. За эти смелые дела полк-партизан получил орден Георгия 4-й степени.

Денису Давыдову, как ревностному стороннику народной войны, пришлось встретить немало нападков со стороны тех рутинеров военной муштры, которых он презрительно называл «чиновниками главной квартиры». На их негодующее брюзжанье, что офицерам полков «Его Величества Императора Всероссийского» не приличествует якшаться с мужиками, поднявшимися с дубьем, на их надменные уверенья, что партизанские отряды все окажутся в плену у неприятеля, Давыдов отвечал не словом, а делом. Это партизанское дело боевого сотрудничества с народом было так велико, так бесспорно с военной точки зрения, так важно с точки зрения политической, что уже через два месяца, после того как Давыдов впервые сел на партизанское седло во главе небольшого отряда, Кутузов открыто и громко заявил Давыдову: «Удачные опыты твои доказали мне пользу партизанской войны, которая столь много вреда нанесла, наносит и нанесет неприятелю»<sup>1</sup>.

Давыдовский ответ делом вместе с отзывом полководца, гениально понявшего значение прямого народного отпора неприятелю, навсегда вошел в историю и заставил замолчать противников народной партизанской войны.

Но с одним отрицателем значения этой войны в эпоху 1812 года Давыдов не мог не вступить в спор — с Наполеоном.

В 1825 году Давыдову привелось прочесть в «Записках Наполеона» («Mémoires pour servir à l'histoire de France», par Napoléon, publiés par Montholon, tome I, Paris, 1823):

«Во время движения на Москву он никогда не имел в тылу своем неприятеля. Во время двадцатидневного пребывания его в сей столице ни одна эстафета, ни один подвоз с зарядами не были перехвачены...; артиллерийские подводы и военные экипажи дошли беспрепятственно». И далее: «Во время... московской кампании ни одна эстафета не была перехвачена, ни один обоз с больными не был взят; не проходило ни одного дня, чтобы главная квартира не получала известия из Парижа».

<sup>1</sup> Там же, стр. 267.



На эти утверждения Наполеона, наголо отрицавшие какую бы то ни было силу партизанского движения, Давыдов отвечал особой книгой: «Разбор трех статей, помещенных в записках Наполеона» (СПБ., 1825).

Приведя вышеуказанные слова Наполеона, Давыдов писал: «Слова, падшие с такой высоты, не суть уже шипение раздраженной посредственности, столь давно преследующей партизанов наших. Это удары Юпитера: звук их может увековечиться в общем мнении». Чем выше остается Наполеон как полководец во мнении Давыдова, тем решительнее отвергает он его навет.

«Я один из обвиняемых, — заявляет Давыдов пред лицом Юпитера-Наполеона, — обвиняемых во «лжи» — в возвеличении народного движения, направленного против великого полководца. — Честь вооружает меня против нареканий ужасных, сокрушительных, может быть, неотразимых. Но что делать? Новый Леонид, иду на громады Ксеркса».

«...Я считаю себя рожденным единственно для рокового 1812 года... В воле Наполеона налагать в числе прочих и на меня проклятие за пролитую кровь его воинов; но не отнимай он у меня дел моих, не стирай с сабли моей кровавых обрызгов, сих отпечатков чести, купленных мною трудами и ежеминутною жертвою жизни. Это моя собственность, это мой участок в славе земляков моих...»

Давыдов-писатель избирает против Наполеона оружие не менее смертоносное, чем Давыдов-партизан против его армии в 1812 году, — он решает «опровергнуть падшие на партизанов наших нарекания доказательствами, которые были бы основательнее нареканий. Постараемся отыскать их в бюллетенях французской армии, как известно, самим Наполеоном сочиненных; в «Монитере», в сем единственном официальном журнале французского правительства; в письмах маршала Бертье начальникам корпусов большой армии; в отбитых у неприятеля бумагах, хранящихся в главном штабе».

Давыдов поставил Наполеона лицом к лицу пред свидетельскими показаниями его генералов, маршалов и... самого Наполеона.

Еще до Бородина, еще из Гжатска (22 августа) Наполеон приказывал маршалу Бертье: «Напишите генералам,

командующим корпусами, что мы ежедневно теряем много людей от беспорядка, господствующего в образе, принятом войском для отыскания пищи; что без отлагательства нужно, чтобы они условились между собою насчет мер, кои должны быть соблюдаемы для прекращения случаев, угрожающих армии разрушением, что число людей, забираемых неприятелем, простирается ежедневно до нескольких сотен». Наполеон требовал поставить на вид суровейшему из маршалов Нею, «что он ежедневно более теряет людей в фуражировании, нежели в сражении».

Нельзя было яснее указать на то, что эти «потери людей в фуражировании» происходят не от действий регулярной русской армии, а от отпора, даваемого неизвестными и бесцельными боями народной войны.

В то время, как Наполеон с великой армией занимал Москву, а Кутузов отошел со своей армией к Оке, французский военный губернатор Смоленской губернии генерал Бараге-Дильер из Вязьмы доносил маршалу Бертье (8/20 сентября): «Число и отвага вооруженных поселян в глубине области, повидимому, умножится. 3/15 сентября крестьяне деревни Клушина, что возле Гжатска, перехватили транспорт с понтонами, следовавший под командой капитана Мишеля. Поселяне повсюду отбиваются от войск наших и режут отряды, кои по необходимости посылаемы бывают для отыскания пищи. Без отлагательства нужно взять меры к преграждению новым беспокойствам, причиняемым крестьянами, или укротить их наглость наказаниями за прошедшие преступления».

Донесение французского смоленского губернатора привело Наполеона в гнев, но тем не менее Наполеон писал маршалу Бертье из Москвы (15/27 сентября): «Я позволяю генералу Бараге-Дильеру располагать польским полком, как он хочет... Ему легко будет проучить поселян».

Но, увы, это было невозможно, и, получив выговор императора за нерадение, Бараге-Дильер поспешил «ответчать как можно откровеннее и короче... Для извлечения всех средств из неприятельской области, жители которой вооружены против нас, надо... достаточное число войск для занятия важнейших пунктов, дабы чрез то прину-

дить жителей к повинению, и для изгнания тех, кто управляют ими с оружием в руках» (т. е. партизан.— С. Д.). И тут же губернатор Смоленщины дает понять Наполеону, что нет надежды на это полное покорение области, в которой что ни крестьянин, то участник народной войны.

28 октября (9 ноября) отряд партизан атаковал одну из бригад Бараге-Дильера, насчитывавшую до 1100 человек пехоты и 500 конницы, и она положила оружие перед партизанами. Остальная часть дивизии едва успела укрыться в Смоленске. Партизаны же захватили главное французское депо в Горках. Разгневанный Наполеон предал Бараге-Дильера военному суду.

Из-за действий партизан и крестьян Наполеону пришлось гневаться не на одного злополучного губернатора Смоленщины. 12 октября 1812 года Наполеон приказывал из Боровска: «Доведите до его (маршала Виктора.— С. Д.) сведения, что, по сие время не получая эстафет, я не знаю, что происходит в его стороне».

На всем пути от Смоленска до Молодечна Наполеон получил только две депеши из Франции: все остальные получал русский штаб, куда доставлялись они партизанами и крестьянами.

Эпизод за эпизодом народной войны приводит Давыдов перед Наполеоном и гневными словами его же собственных приказов, донесениями его же генералов удостоверяет то великое значение, какое имело партизанское движение в крушении его завоевательных планов в России.

С полным правом и торжеством заключает Давыдов:

«После сего я спрашиваю всякого беспристрастного человека: какое может вселить доверие та часть Наполеоновых записок, в коей, раздраженный, как кажется, тяжким воспоминанием о происшедшем и не менее тяжким гнетом настоящего, он решился обнародовать, что в течение Московской кампании не было неприятеля в тылу французской армии и что она не лишилась ни одного транспорта провиантского и артиллерийского, ни одной команды, ни одной эстафеты, ни одного курьера?.. И кто в том уверяет? Наполеон, едва не попавшийся

два раза в плен казакам нашим; а известно, что место полководцев не впереди своих войск, но в тылу оных»<sup>1</sup>.

В литературной своей схватке с Наполеоном поэт-партизан одержал над ним блестящую победу: никто из биографов Наполеона<sup>2</sup>, никто из историков 1812 года не отвел ни одного из свидетельств, представленных Давыдовым в защиту победной действительности народной войны против великой армии, и тот обзор этой действительности, который заключается в ответе Давыдова Наполеону, сделанный по французским документам и по дневникам самого зачинателя партизанства, является донныне одной из лучших и самых достоверных летописей народной войны 1812 года.

Образ Давыдова, поэта-партизана, во время войны 1812 года стал одним из самых любимых в войсках и в народе.

Сам Давыдов с большой исторической правдой и поэтической силой зарисовал участников народной войны в отрывке «Партизан»:

Умолкнул бой. Ночная тень  
Москвы окрестность покрывает;  
Вдали Кутузова курень  
Одиш, как звездочка, сверкает.  
Громада войск во тьме кипит,  
И над пылающей Москвою  
Багрово зарево лежит  
Необозримой полосой.

И мчится тайною тропой  
Воспринувший с долины битвы  
Насздников веселый рой  
На отдаленные ловитвы.  
Как стая алчущих волков,  
Они долинами витают:  
То внемлют шороху, то вновь  
Безмолвно рыскать продолжают.

Начальник, в бурко на плечах,  
В косматой шапке кабардинской,

<sup>1</sup> Свой «Разбор трех статей, помещенных в записках Наполеона», Давыдов включил впоследствии в свои записки «1812 год». См. новейшее издание их в книге: «Денис Давыдов. Военные записки». М., ГИХЛ, 1940, стр. 160—193.

<sup>2</sup> В 1828 году статья Давыдова была переведена на французский язык и напечатана в «Bulletin du Nord» № 2.

Горят в передовых рядах  
Особой яростью воинской.  
Сын белокаменной Москвы,  
Но рано брошенный в тревогу,  
Он жаждет сечи и молвы,  
А там что будет — вольны боги<sup>1</sup>.

Этот «начальник» партизан — сам Денис Давыдов, а вся историческая и географическая обстановка, данная в стихотворении, переносит нас на берега реки Нары, притока Оки, где возле села Тарутина произошел первый бой, в котором русская армия имела успех над французами, бывшими под предводительством Мюрата.

К образу партизана, героя народной войны, с особою любовью обращались современники 1812 года, владевшие прозаическим или поэтическим пером. Поэт-декабрист Кондратий Федорович Рылеев, принявший прямое участие «мечом» в борьбе с Наполеоном, своею «лирою» захотел сохранить для потомства образ партизана, как наиболее яркий и народный образ Отечественной войны:

В лесу дремучем на поляне  
Отряд наездников сидит.  
Окрестность вся в седом тумане,  
Кругом осенний ветр шумит...

Плащи навешаны шатром  
На пиках, в глубь земли вонзенных;  
Биваки в сумерки ночном  
Вокруг костров воспламененных...

На этом привале слышится «песня партизанская»:

Вкушает враг беспечный сон;  
Но мы не спим, мы надзираем —  
И вдруг на стан со всех сторон,  
Как снег внезапный, налетаем.

В одно мгновенье враг разбит,  
Врасплох застигнут удалцами,  
И вслед за ними страх летит  
С неутомимыми донцами<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Денис Давыдов. Полное собрание стихотворений. Библиотека поэта. Л., 1933, стр. 113.

<sup>2</sup> К. Ф. Рылеев. Полное собрание сочинений. М.-Л., «Academia», 1934, стр. 261, 262.

Денис Давыдов всю свою жизненную судьбу, историческое свое дело и поэтическую славу соединял с Отечественной войной.

Поэт-партизан оставил замечательный «Дневник партизанских действий 1812 года», а впоследствии написал «Опыт теории партизанских действий»<sup>1</sup>.

Еще в 1821 году Пушкин увлекался чтением сочинений Давыдова, посвященных партизанской войне, и писал ему об этом:

Недавно, я в часы свободы  
«Устав наездника» читал  
И даже ясно понимал  
Его искусные доводы;  
Узнал я резкие черты  
Неподржаемого слова...

А через пятнадцать лет Пушкин писал Давыдову с восторгом и сожалением:

Тебе, певцу, тебе, герою!  
Не удалось мне за тобою  
При громе пушечном, в огне  
Скакать на бешеном коне.

Вручая Давыдову своего «Пугачева», Пушкин рекомендовал его поэту-партизану:

Вот мой Пугач: при первом взгляде  
Он виден: плут, казак примон;  
В передовом твоём отряде  
Урядник был бы он лихой.

Деятельность Давыдова, мечом и пером поражавшего завоевателя и его армию, доставила ему громкую славу.

К числу литературных и военных друзей Д. Давыдова принадлежал Сергей Никифорович Марин (1775—1813). Он в 1808 году издавал, вместе с А. А. Шаховским и И. А. Крыловым, «Драматический вестник», в котором печатал свои сочинения; для трагической артистки Е. С. Семеновой он перевел трагедию

<sup>1</sup> Записки и дневники Давыдова, относящиеся к войнам с Наполеоном, изданы в 1940 г. Гослитиздатом под названием: «Военные записки» (редакция Вл. Орлова).

Вольтера «Меропа». Но широкую известность Марин стяжал себе своими сатирическими и шуточными стихами, пародиями и песнями, которыми впоследствии увлекался Пушкин. Одна из веселых песенок Марина «Барышня, сударышня, пожалуйте ручку» перешла в народ и распевалась повсюду. Не менее известен был «Марш русской гвардии», сложенный Мариным во время второй войны с Наполеоном:

Пойдемте, братцы, за границу  
Бить отечества врага!

В 1812 году любили вспоминать стих Марина, адресованный Наполеону еще в 1807 году:

Высокомерие предтеча есть паденья.

Марин был участником всех войн с Наполеоном в 1805—1813 годах. Любимый соратник Багратиона, Марин вел в 1812 году деятельную переписку с поэтом-партизаном Д. Давыдовым, посылая ему важные сведения о ходе военных действий. Марин был тяжело ранен под Аустерлицем; участие в военных действиях 1812 года обострило последствия этого ранения, и в феврале 1813 года Марина не стало.





*А. С. Грибоедов*

## VI



К сожалению, совсем осталась в тени деятельность, связанная с 1812 годом, Александра Сергеевича Грибоедова (1795—1829), между тем она заслуживает глубокого внимания.

Вступив в московский университет 30 января 1806 года, будущий автор «Горя от ума» через два с половиной года окончил «словесное отделение» философского факультета с ученым званием «кандидата словесных наук»; еще через два года (1810) Грибоедов окончил юридический факультет также со степенью «кандидата прав». Грибоедов и на этот раз не покинул университета, а предался изучению математики и естественных наук; он, по свидетельству современника, «учился страстно» и столь же страстно увлекался театром, поэзией, музыкой.

Но ударил час войны — и все это было оставлено Гри-



боедовым. Он сам пишет: «Я был готов к испытанию для поступления в чин доктора, когда получено было известие о вторжении неприятеля в пределы отечества нашего и вскоре затем последовало... воззвание к дворянству ополчиться для защиты отечества. Я решился тогда оставить все занятия мои и поступить в военную службу»<sup>1</sup>.

За месяц до Бородинской битвы Грибоедов был зачислен корнетом в Московский гусарский полк, формируемый гр. П. И. Салтыковым. Но семнадцатилетнего патриота ждало большое испытание: вместо блестящих кавалерийских атак и удалых наездов, прославивших Дениса Давыдова, Грибоедову пришлось заняться трудным, незаметным, но необходимым будничным делом: будучи в резерве, заниматься собиранием и обучением новых отрядов кавалерии для действующей армии. Чем далее продвигалась русская армия, тесня Наполеона, на Запад, в Германию и Францию, тем насущней было это дело пополнения кавалерийских кадров. Грибоедов, несмотря на юные годы, сумел понять важность этой невидной тыловой работы и прилежно отдавал ей свои силы вплоть до того момента, когда русские войска, низложив Наполеона, вернулись из-за границы. Лишь тогда Грибоедов счел для себя возможным оставить военную службу.

В своей статье «О кавалерийских резервах», напечатанной в 1814 году в «Вестнике Европы», Грибоедов, рассказывая о деятельности своего начальника, генерала Кологривова, по формированию кавалерийских частей, с внутренним удовлетворением участника этого трудного дела (он был адъютантом при Кологривове) пишет:

«Кто когда-либо служил в кавалерии, кто хоть малейшее имеет понятие о трудностях сей службы; кто приведет себе на память, что прежде сего один конный полк формировался целыми годами; кто вспомнит, в какое смутное время кавалерийские резервы восприняли свое начало; кто расчислит, какие запутанности встречаются при начале всякого важного и огромного государственного дела; кто взвесит обстоятельства, коих не в силах

<sup>1</sup> А. С. Грибоедов. Полное собрание сочинений под ред. Н. К. Пиксанова. Том I. СПб., 1911, стр. 17.

отвратить никакая предусмотрительность, например: отдаленность губерний, из коих приводятся лошади, порча их в дороге, неопытность иных гражданских чиновников, коим поручено было в губерниях приимать, разбирать, отводить ремонты, и так далее; кто притом знает, чего стоит в кроткого земледельца внушить дух бранный, чего стоит заставить забыть его мирную, безмятежную жизнь, дабы приучить к непреклонным воинским уставам: тот, конечно, подивится многочисленной и отборной конице, образованной в столь короткое время, в беспрестанных переменах места, на походе от Оки до Буга (2000 верст), по краям, опустошенным неприятелем; подивится войску, ополченному в случайностях войны, как бы в тишине мира, под сению которого редко что требуется к спеху и дается времени столько, сколько потребно для совершения нужного дела».

«Подивиться» действительно было чему: из главной квартиры генерала Кологривова, правою рукою которого был Грибоедов, «отправлялись ежемесячно в действующую армию по десяти, двенадцати, двадцати, а в разные времена, от августа до января, пошло в армию 113, ныне же (1814 год.—С. Д.) в готовности 150 эскадронов. Итак, в пятнадцать, а с настоящего формирования — в двенадцать месяцев образовалось 65 000 кавалерии».

Цифра, сообщаемая Грибоедовым, для эпохи первой Отечественной войны исключительно велика и почетна для тех, кто был ее создателем.

В статье «О кавалерийских резервах» Грибоедов с законной гордостью перечисляет те кавалерийские части, которые отличались в боях с французами и в формировании которых он принимал участие: «Эскадроны из новообразованных, которые принимали участие в военных действиях, почти все отличались. Для примера упомянем о Павлоградском гусарском, который, составленный весь из рекрут, и не доходя еще до своего назначения, в одной сшибке с неприятелем разбил его наголову и взял 200 нижних чинов в плен; также и Сумской ударил один на два эскадрона и обратил их в бегство, имея в виду сильное неприятельское подкрепление».

Грибоедов подчеркивает в своей статье, что «кавале-

рийские резервы, относительно к огромности сего учреждения, весьма мало стоили казне»<sup>1</sup>.

Есть и другой литературный памятник,—вернее, проект такого памятника,—внушенный Грибоедову Отечественной войной.

Под общим заглавием «1812 год» сохранились краткий план и одна сцена из задуманной Грибоедовым драмы.

Драма предполагалась в трех «отделениях» и с «эпилогом».

Первое «отделение» должно было в первой картине показать «Красную площадь» в Москве: «История начала войны, взятие Смоленска, народные черты, приезд государя, обоз раненых, рассказ о битве Бородинской. М\* с первого стиха до последнего на сцене. Очертание сего характера». Уже в этой наметке первой же сцены драмы ясно, что Грибоедова-драматурга захватывают «народные черты» Отечественной войны. Главным действующим лицом драмы должен быть М\*,—как видно из дальнейшего,—крепостной человек какого-то помещика: в нем Грибоедов справедливо видел одно из тех неизвестных лиц из народа, которые двигали историческими событиями 1812 года.

Вторая сцена драмы должна была перенести зрителя в «Собор Архангельский»: там «возникают тени давно угасших исполинов—Святослава, Владимира Мономаха, Иоанна, Петра и проч.». Тени эти, знаменующие героическое прошлое русского народа, «пророчествуют о године искупления для России.—если не для современников, то сии, повествуя сынам, возбуждают в них огонь неугасимый, рвение к славе и свободе отечества». Последняя сцена первого «отделения» переносит нас в «Терем царей в Кремле. Наполеон со сподвижниками. Картина взятия Москвы». Наполеон предается в одиночестве «размышлению о юном первообразном сем народе».

Второе «отделение» драмы происходит на «галерее в доме Позднякова», где был открыт публичный театр

<sup>1</sup> Сколько позволяли условия цензуры, Грибоедов дает понять читателю, что это большое дело обошлось без казнокрадства, столь обычного в России Фамусовых с их корыстной привязанностью к казенным «местечкам».

во дни пребывания Наполеона в Москве. «Входит офицер R\* из приближенных к Наполеону, исполненный жизни, славы и блестящих надежд. Один поседелый воин, с горьким предчувствием опытности, остерегает насчет будущих бедствий. Ему не верят. Хохот. Из театра несутся звуки пляски и отголоски веселых песен. Между тем зарево обнимает повременно окна галлерей; более и более устрашающий ветер. Об опустошениях огня».

Следующие сцены должны были показать Москву во власти французов и столкнуть между собою двух противников — наполеоновского офицера R\* и крепостного ополченца M\*: «Улицы, пылающие дома. Ночь. Сцены зверского распутства, святотатства и всех пороков.— R\* и M\* в разных случаях».

Едва ли не самой важной сценой в драме Грибоедова должна была быть следующая сцена: «Село под Москвой. Сельская картина. Является M\*. Всеобщее ополчение без дворян. (Трусость служителей правительства — выставлена или нет, как случится)».

Несмотря на краткость этой записи, мысль Грибоедова ясна. Изгнание Наполеона есть дело с а м о г о н а р о д а. Этим народным подвигам борьбы за родину Грибоедов намерен был посвятить все «отделение третье» своей драмы: «Зимние сцены преследования неприятеля и ужасных смертей. Истязание R\* и поседелого воина... Подвиги M\*. Множество других сцен».

«Эпilog» драмы «1812 год» заслуживает особого внимания по глубокому социальному мотиву, который, в полном согласии с историей, введен в него Грибоедовым.

Первая сцена эпilога переносит нас в Вильну — место, где победитель Наполеона, Кутузов, встретился с Александром I. Грибоедов намеревался изобразить — и изобразил бы с яркостью, присущей создателю Фамусова и Скалозуба, — «отличия, искательства» придворных и важных военных чинов перед Александром I, раздавателем наград; при этих «искательствах, — пишет Грибоедов, — вся поэзия великих подвигов исчезает». Истинный герой драмы Грибоедова и русской действительности 1812 года, вождь ополченцев «M\* в пренебрежении у военачальников. Отпускается во-свояси с отеческими наставлениями к покорности и послушанию».

В последней сцене драмы Грибоедов переносит действие в «село или развалины Москвы»,— иначе сказать, в крепостную усадьбу или в барский дом в Москве, и с суровым лаконизмом записывает финал всей драмы:

«Прежние мерзости, М\* возвращается под палку господина, который хочет ему сбрить бороду (очевидно, для того, чтоб сделать его лакеем.— С. Д.). Отчаяние... самоубийство»<sup>1</sup>.

Можно глубоко сожалеть, что Грибоедов не написал задуманной драмы: изображая величественные картины народной борьбы с Наполеоном, Грибоедов показывал в ней истинного героя этой борьбы—вождя крестьянского ополчения и вместе с тем с необыкновенной правдивостью изъяснял горестную судьбу этого героя: вернуться, освободив родину, в рабскую долю, в крепостную усадьбу, под власть помещика.

В этом финале своей драмы «1812 год» Грибоедов является предшественником декабристов; их политическому сознанию с полной ясностью раскрылся страшный контраст, порожденный 1812 годом: народ, стяжавший себе славу победителя величайшего из полководцев, народ-герой оставался «крещеною собственностью» нескольких тысяч рабовладельцев.

По глубине исторической мысли и остроте политического сознания драма Грибоедова «1812 год» является единственной среди художественных откликов современников на 1812 год.



<sup>1</sup> А. С. Грибоедов. Полное собрание сочинений под ред. П. К. Пискалова. Том I, стр. 262, 263.



В. А. Жуковский

## VII

**П**о мере приближения Наполеона к Москве в отступающей русской армии все больше увеличивалось желание схватиться с завоевателем в решающей схватке и, выиграв генеральное сражение, не допустить Наполеона в Москву.

Это общее желание бойцов русской армии превосходно выразил Лермонтов в словах старого солдата («Бородино»):

Что ж мы? На зимние квартиры?  
Не смеют, что ли, командиры  
Чужие изорвать мундиры  
О русские штыки?

Кутузов должен был пойти навстречу этому общему желанию и дать Наполеону Бородинский бой (26 августа).

В чаянии этого решающего боя с французами безмерно усилился приток в народное ополчение.

10 августа 1812 года вступил в московское ополчение, в чине поручика, Василий Андреевич Жуковский (1783—1852) — самый любимый из поэтов того времени. Он был тогда уже автором «Сельского кладбища», «Людмилы», «Светланы», «Громобоя» и других поэтических произведений, которыми зачитывалось все молодое поколение. Стихи Жуковского, с их «пленительной сладостью», выучивались наизусть, распевались, как романсы, переписывались в бесчисленные альбомы.

Поэт мечтательной грусти и сладкой задумчивости покинул свои рукописи для тревоги войны.

Жуковский был участником Бородинской битвы. Он оставил воспоминания об этой битве:

«Две армии стали на этих полях одна перед другой; в одной Наполеон и все народы Европы, в другой — одна Россия. Накануне сражения (25 августа) все было спокойно: раздавались одни ружейные выстрелы, которых беспрестанный звук можно было сравнить со стуком топоров, рубящих в лесу деревья. Солнце село прекрасно, вечер наступил безоблачный и холодный, ночь овладела небом, которое было темно и ясно, и звезды ярко горели; зажглись костры, армия заснула вся с мыслию, что на другой день быть великому бою. Тишина, которая тогда воцарилась повсюду, неизобразима; в этом всеобщем молчании, в этом глубоком темном небе, которого все звезды были видны и которое так мирно распростиралось между двумя армиями, где столь многие обречены были на другой день погибнуть, было что-то роковое и несказанное. И с первым просветом дня грянула русская пушка, которая вдруг пробудила повсеместное сражение...

Мы стояли в кустах на левом фланге, на который напирал неприятель; ядра невидимо откуда к нам прилетали; все вокруг нас страшно гремело, огромные клубы дыма поднимались на всем полукружии горизонта, как будто от повсеместного пожара, и, наконец, ужасною белою тучею охватили половину неба, которое тихо и безоблачно сияло над бьющимися армиями. Во все продолжение боя нас мало-по-малу отодвигали назад. Наконец, с наступлением темноты, сражение, до тех пор не прерывавшееся ни на минуту, умолкло. Мы двинулись

вперед и очутились на возвышении, посреди армии; вдали царствовал мрак, все покрыто было густым туманом осевшего дыма, и огни биваков неприятельских горели в этом тумане тусклым огнем, как огромные раскаленные ядра. Но мы недолго остались на месте: армия тронулась и в глубоком молчании пошла к Москве, покрытая темною ночью»<sup>1</sup>.

После оставления Москвы Жуковский проделал, вместе с армией Кутузова, знаменитый марш к Тарутину.

Еще раньше Жуковского вступил в московское ополчение его приятель, другой замечательный поэт эпохи, князь Петр Андреевич Вяземский (1792—1877); недавно перед тем вступивший в брак с княжной В. Ф. Гагариной, он оставил молодую жену и ушел на войну добровольцем. 24 августа — за два дня до Бородинской битвы — Вяземский писал жене, отправленной в Ярославль: «Я сейчас еду, моя милая. Ты, бог и честь будут спутниками моими»<sup>2</sup>.

О вступлении своем добровольцем в народное ополчение и об участии своем в Бородинском сражении П. А. Вяземский рассказал в своем «Воспоминании о 1812 годе». Ввиду редкости сочинений Вяземского и высокой занимательности и правдивости рассказа приводим большую выдержку из него (с сокращениями):

«Я никогда не готовился к военной службе. Ни здоровье мое, ни воспитание, ни склонности мои не располагали меня к этому званию. Я был посредственным ездоком на лошади, никогда не брал в руки огнестрельного оружия... Одним словом, ничего не было во мне воинственного... Но все это было отложено в сторону пред общим движением и важностью обстоятельств. Полк иши или зародыши нашего полка стояли тогда около Петровского дворца. Туда был наряжаем и я на дежурства, делал смотры, переключки и сам не верил, глядя на себя.. Милорадович предложил мне принять меня к себе в должность адъютанта. Разумеется, с охотою и признательностью принял я это предложение».

<sup>1</sup> Жуковский. Полное собрание сочинений под редакцией А. С. Архангельского. Том XII. СПб., 1902, стр. 53.

<sup>2</sup> Остафьевский архив князей Вяземских, том V, вып. I, СПб., 1909, стр. 7.



Вяземский вступил в исполнение своих обязанностей адъютанта на бородинских бивуаках в самый канун знаменитой битвы.

Он застал Милорадовича «пред разведенным огнем. Поздравив меня с приездом совершенно кстати, потому что битва на другой день была почти несомненна, он отпустил меня... На другое утро, с рассветом, разбудила меня вестовая пушка... Наскоро оделся я и пошел к Милорадовичу. Все были уже на конях. Но, на беду мою, верховая лошадь моя, которую отправил я из Москвы, не дошла еще до меня. Все отправились к назначенным местам. Я остался один. Минута была ужасная. Меня обдало холодом и унынием. Мне живо представилась вся несообразность, комическо-трагическая неловкость моего положения. Приехать в армию, как нарочно, ко дню сражения, и в нем не участвовать!.. Мне тогда казалось, что если до конца сражения не добуду себе лошади, то непременно застрелюсь...

По счастью, незнакомый мне адъютант Милорадовича, Юнкер, случайно подъехал и, видя мое отчаяние, предложил мне свою запасную лошадь.

Обрадовавшись и как будто спасенный от смерти, выехал я в поле и присоединился к свите Милорадовича. Я так был неопытен в деле военном и такой мирный московский барич, что свист первой пули, пролетевшей надо мною, принял я за свист хлыстика. Обернулся назад и, видя, что никто за мной не едет, догадался я об истинном значении этого свиста.

Вскоре потом ядро упало к ногам лошади Милорадовича. Он сказал: «Бог мой! видите, неприятель отдаст нам честь...» К сожалению, не встретился я на поле сражения с Жуковским, который так же, как и я, на скорую руку был посвящен в воины. Он с московскою дружиною стоял в резерве, несколько поодаль. Но был и он под ядрами, потому что бородинские ядра всюду долетали...

Данная мне адъютантом Юнкером лошадь была пулею прострелена в погу и так захромала, что не могла уже мне служить.

И вот я опять стал в тупик, по образу пешего хождения. А за Милорадовичем на поле сражения пешком угнаться было невозможно: он так и летал во все сто-

роны. Когда ранили лошадь подо мною, неизъяснимое чувство то радости, то самодовольства пробудилось во мне и меня воодушевило. Мне в эту минуту сдалось, что я недаром облачился в казацкий чекмень. Я понял значение французского выражения «le baptême de feu»<sup>1</sup>. Хотя, собственно, ранен был не я, а только неповинная моя лошадь, но всё же был я в опасности и также мог быть ранен. Я даже жалел, что эта пуля не попала мне в руку или ногу... Адъютант Милорадовича Д. Г. Биби-ков сжалился надо мной и дал мне свою запасную лошадь. Но и ему за указанное одолжение не посчастливилось: вскоре затем ядром оторвало у него руку.

Спустя немного времени после сделанной ему операции видел я его; он был спокоен духом и даже шутил.

Милорадович ввел в дело дивизию А. П. Бахметева, находившуюся под его командой. Под Бахметевым была убита лошадь. Он сел на другую. Спусти несколько времени ядро раздробило ногу ему. Мы остановились. Ядро, упав на землю, зашипело, завертелось, взвилось и разорвало мою лошадь. Я остался при Бахметеве. С трудом уложили мы его на мой плащ и с несколькими рядовыми понесли его подале от огня.

Но и тут, путем, сопровождали нас ядра, которые падали направо и налево, пред нами и позади нас. Жестоко страдая от раны, генерал изъявил желание, чтобы меткое ядро окончательно добило его. Но мы благополучно донесли его до места перевязки. Это тот самый Бахметев, при котором позднее Батюшков находился адъютантом...

Не помню, по какому случаю, уже поздним вечером, попал я в избу, где лежал тяжело раненый князь Багратион...

Не только мое частное, неопытное впечатление, но и общее между военными, тут находившимися, мнение было, что бородинское дело было нами не проиграно. Все еще были в таком восторженном настроении духа, все были такими живыми свидетелями отчаянной храбрости наших войск, что мысль о неудаче или даже полуудаче не могла никому приходить в голову. К утру эта приятная самоуверенность несколько ослабела и остыла. Мы

<sup>1</sup> Крещение огнем.

узнали, что дано было приказание к отступлению... Между рядовыми и офицерами отступление никому не было по вкусу»<sup>1</sup>.

За участие в Бородинской битве Вяземский был награжден орденом Владимира 4-й степени с бантом.

Вслед за Жуковским и Вяземским готовился вступить в народное ополчение и писатель старшего поколения Николай Михайлович Карамзин (1766—1826). Прославленный автор «Бедной Лизы» и «Писем русского путешественника» в это время носил официальное звание «историографа» и был занят писанием «Истории государства Российского».

Но за шесть дней до Бородина Карамзин писал из Москвы И. И. Дмитриеву: «Я переехал в город, отправил жену и детей в Ярославль с брюхатой княгиней Вяземской, сам живу у графа Ф. В. Ростопчина и готов умереть за Москву, если так угодно богу... Я рад сесть на своего серого коня и вместе с Московскою удалою дружиною примкнуть к нашей армии. Я простился с историей»<sup>2</sup>.

Карамзин помышлял о том, чтобы сменить спокойное перо историка на другое, более живое перо.

Он понимал, что история плохо пишется в то время, когда она творится: Карамзин чувствовал потребность говорить непосредственно с тем, кто творит историю: с народом.

Это право присвоил себе главнокомандующий Москвы граф Федор Васильевич Ростопчин (1763—1828). Фаворит Павла I, он в конце его царствования попал в опалу и оставался не у дел и при Александре I, проживая в своем имении и снисходя до «опытов» в литературе. Эти опыты — комедия «Вести или убитый живой» и «Мысли вслух на Красном крыльце», писанные в эпоху войны с Наполеоном в 1807 году, были проникнуты подчеркнутым французодством. «Он французов ненавидел и ругал их на чисто французском языке, — говорит про Ростопчина П. А. Вяземский. — Парафразируя известное изречение, можно сказать о нем: *grattez le Parisien, vous*

<sup>1</sup> П. А. Вяземский. Полное собрание сочинений. Том VII. СПб., 1882, стр. 201—207.

<sup>2</sup> Письма Н. М. Карамзина к И. И. Дмитриеву. СПб., 1866, стр. 165.

trouvez le Russe, grattez encore, vous retrouverez le Tartare» (поскоблите парижанина, вы найдете русского, поскоблите еще, и вы найдете татарина)<sup>1</sup>.

Ненависть к французам была у Ростопчина вызвана отнюдь не любовью к России, к русскому народу,— она была вызвана паническим страхом его перед французской революцией, перед тем, что она может повториться в России и разрушить самое священное для Ростопчина учреждение — крепостное право. В каждом французе, приезжающем в Россию, как и в самом Наполеоне, ведущем на нее «великую армию», Ростопчин готов был видеть агента революции.

Боясь, что эти агенты будут иметь успех в крепостных массах, Ростопчин считал нужным снизойти до разговора с «чернью». Этот разговор он начал в 1807 году: в своих «Мыслях вслух на Красном крыльце»; он, устами некоего Силы Андреевича Богатырева, разглагольствовал: «Придет француз с виселицы, все его наперехват, а он еще ломается; говорит: либо принц, либо богач, за верность и веру пострадал, а он, собака, холоп, либо купчишка, либо подьячий, либо поп-расстрига... Вить что проклятые наделали в эти двенадцать лет! Все истребили, пожгли и разорили. Сперва стали уметь, потом спорить, браниться, драться; ничего на месте не оставили, закон попрали, начальство уничтожили, храмы осквернили, цари казнили, да какого цари!—отца. Наполеон, устремляющийся на Россию, для Ростопчина — вернейший слуга революции: «Революция — пожар, французы — головешки, а Бонапарт — кочерга. Вот от того-то и выкинуло из трубы. Он и пошел драться».

Ростопчин не отрицает: да, Бонапарт «Италию разграбил, двух королей на острова отправил, цесарцев обдул, пруссаков донага раздел и разул», но тут же аттестует Наполеона в таких площадных выражениях: «Мужичишка в рекруты не годится: ни кожи, ни рожи, ни виденья,— раз ударить, так след простынет и дух воц; а он-таки лезет вперед на русских. Ну, милости просим!..

Ура, русские, вы одни молодцы!»<sup>2</sup>

<sup>1</sup> П. А. Вяземский. Полное собрание сочинений. Том VII. СПб., 1882, стр. 501.

<sup>2</sup> «Россия и Наполеон». Сборник. М., 1912, стр. 16—20.

Всячески издеваясь над французами, изображая Наполеона в шутовском виде и с бравурной развязностью похваляясь «богатырской силой», Ростопчин в действительности презирал русский народ; он цинично заявлял, что в этой «бедной толпе... дураковатые люди никогда не обретаются в меньшинстве» и что поэтому «путем слов и очень небольшой доли шарлатанства» совсем не трудно властвовать над народными массами<sup>1</sup>.

Когда, незадолго до начала войны 1812 года, Александр I назначил Ростопчина главнокомандующим в Москву, Ростопчин понял свое назначение как борьбу с революцией, которая, представлялось ему, таилась на дворянских антресолях, в масонских ложах, в писательских кружках. «Монархист, в полном значении слова, враг народных собраний и народной власти, вообще враг так называемых либеральных идей, он с ожесточением, с какою-то монomanieю, *idée fixe*, везде отыскивал и преследовал якобинцев»<sup>2</sup>.

Когда же Наполеон двинулся в пределы России, Ростопчин, решив, что он «вольность хочет проповедать» крепостным крестьянам, принялся за яростную демагогическую обработку населения Москвы в ультра-шовинистическом духе. На стенах домов появились знаменитые афиши, написанные самим Ростопчиным. Прикрывая шовинистическим бахвальством свой страх, как бы народ не воспользовался военными событиями для того, чтобы свести счеты с собственниками «крепостных душ», Ростопчин в своих афишах беззастенчиво и крайне безвкусно подделывался под народную речь и профанировал народное здоровое патриотическое чувство. На одной из них (от 1 июля) был изображен кабак, и тут же сообщалось: «Московский мещанин бывший в ратниках Карнюшка Чихирин выпив лишний крючок на тычке услышал что будто Бонапарт хочет итти в Москву, рассердился и разругав скверными словами французов, вышел из питейного дому, заговорил подорлом так: «Как к нам милости просим хоть на святки, хоть и намаслиницу да

<sup>1</sup> С. В. Бахрушин. Москва в 1812 году. «Речи, произнесенные... в память 1812 года». Издание О-ва истории и древностей российских. М., 1913, стр. 31.

<sup>2</sup> П. А. Вяземский. Полное собрание сочинений. Том VII, стр. 504.

и тут жгутами девки так припопоят что спина вздуется горой... Ну где им русское житье-бытье вынести от капусты раздует, от каши перелопаются, от шей задохнутся...»<sup>1</sup>

В этом фальшивом стиле ухарского бахвальства написаны и все другие афиши Ростопчина, из которых московский житель только и мог получать официальные сведения о ходе войны. Не считаясь с ходом военных действий, Ростопчин похвалялся: «Я жизнью отвечаю, что злодей в Москве не будет». Перечислив «военную силу», Ростопчин заявлял: «А если мало этого для погибели злодея, тогда уж я скажу: ну, дружина Московская! пойдём и мы! И выйдем сто тысяч молодцов, возьмём Иверскую божью мать, да 150 пушек и кончим дело все вместе. У неприятеля же своих и сволочи 150 000 человек кормятся пареною репою и лошадиным мясом». Эту исполненную лжи (особенно в исчислении сил неприятеля) афишу Ростопчин закончил саморекондацией: «А я верный слуга царской, русской барин и православной христианки».

После Бородинского сражения, когда русская армия отступала к Москве, а французская двигалась за нею следом, Ростопчин заверял население Москвы: «Мы своим судом с злодеем разберемся! Когда до чего дойдет, мне надобно молодцов и городских и деревенских: и клич кликну дни за два, а теперь не надо, и и мотчу. Хорошо с топором, недурно с рогатиной, а всего лучше вилы тройчатки; француз не тяжеле снопа ржаного». Это являлось народу 30 августа (причем самовлюбленный Ростопчин тут же сообщил: «Я теперь здоров, у меня болел глаз, а теперь смотрю в оба!»), а 31 августа, в канун того дня, когда оставление Москвы было решено Кутузовым, Ростопчин продолжал хвастаться своей будущей победой над Наполеоном: «Станем и мы из них дух искоренять и этих тостей к чорту отправлять; и приеду назад к обеду и примемся за дело, сделаем, доделаем и злодеев отделаем»<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> «Наполеон и Россия». Сборник, стр. 57. В цитате сохранена пунктуация и словоначертание Ростопчина, нарочито подделывавшегося под народную малограмотность.

<sup>2</sup> «Ростопчинские афишки». «Москвитянин», 1812, кн. 1, стр. 187, 188, 192, кн. 2, стр. 528, 529.

Во всех этих планах и призывах Ростопчина было много сознательной лжи: этой похвалой и этим панибратством с «низшими» слоями московского населения Ростопчин хотел, играя на их патриотическом чувстве, удержать их в полном повиновении собственному произволу. Что же касается до лжи, разлитой по его «афишам», то Ростопчин считал самым законным делом, по его словам, «прибегать к разным маленьким средствам для занятия и развлечения умов в народе»<sup>1</sup>.

Ростопчин, несомненно, ошибся, полагая, что московское население с восторгом примет его панибратские речи, изложенные мнимо-народным языком.

Сохранилось немало отзывов современников, свидетельствующих, что Ростопчин далеко не нашел того отклика, на который рассчитывал. Л. Н. Толстой с высокой исторической правдивостью изобразил в III томе «Войны и мира» (часть 3, гл. 23) то недоумение и разочарование, которое испытывал народный читатель при чтении ростопчинских афиш: Ростопчин, по словам Толстого, «не имел ни малейшего понятия о том народе, которым думал управлять», и было жалким заблуждением с его стороны, что он может руководить народом «посредством своих воззваний и афиш, писанных тем ерническим языком, который в своей среде презирает народ и который он не понимает, когда слышит его сверху»<sup>2</sup>.

Ростопчин считал право обращаться к народу путем печатного слова своей личной привилегией, поэтому к писателям в 1812 году он относился с удвоенным подозрением.

Над С. Н. Глинкой он установил полицейский надзор. «Когда в 1812 году Жуковский поступил в ополчение,— вспоминает П. А. Вяземский,— Карамзин, предвидя, что едва ли выйдет из него служивый воин, просил Ростопчина прикомандировать его к себе. Ростопчин отказал, потому что Жуковский заражен якобитскими мыслями. Я подвергся такому же подозрению», — тем более, что Вяземский «решительно не одобрял» афиш Ростопчина<sup>3</sup>.

<sup>1</sup> С. В. Бахрушин. Москва в 1812 году, стр. 31.

<sup>2</sup> Л. Н. Толстой. Полное собрание сочинений под ред. В. Г. Чертова. Том II. М.-Л., 1932, стр. 339.

<sup>3</sup> П. А. Вяземский. Полное собрание сочинений. Том VII, стр. 504.

Вряд ли и сам Карамзин, несмотря на свое звание «историографа», не был подозрителен Ростопчину. Во всяком случае, Ростопчин не захотел дать историографу «государства Российского» право печатно говорить с Москвою в исторический час, когда ей угрожал Наполеон.

«Карамзину,— вспоминает П. А. Вяземский,— не могли нравиться ни слог, ни некоторые приемы этих летучих листков (афиши Ростопчина. — С. Д.). Под прикрытием отговорок, что Ростопчину, уже и так обремененному делами и заботами первой важности, нет времени заниматься еще сочинениями, он предлагал эти листки писать за него... Ростопчин... отклонил это предложение»<sup>1</sup>. Карамзин был огорчен этим отказом. 27 августа 1812 года он написал своему брату: «Наконец я решился силою отправить жену мою с детьми в Ярославль, а сам остаюсь здесь и живу в доме у главнокомандующего гр. Ф. В. Ростопчина, но без всякого дела и без всякой пользы. Душе моей противна мысль быть беглецом: для того не выеду из Москвы, пока все не решится. Я довольно здоров и тверд: многие кажутся мне малодушными... Чем ближе опасность, тем менее во мне страха. Опыт знакомит нас с самими нами». Карамзин сдержал свое слово: лишь 1 сентября выехал он «из Москвы, куда на другой день вошли французы»<sup>2</sup>.

Известие о Бородинском сражении произвело в Москве, а за нею и во всей России, потрясающее впечатление.

«О Бородинской битве говорили в Москве, как предки наши говаривали о Мамаевом побоище, — рассказывает А. Я. Булгаков. — Казалось, что кровь, в Бородине пролитая, протекала к нам в Белокаменную, дабы наполнить сердца наши ужасом и призывать оные к мести».

Подавляющее большинство общества не допускало и подумали, что Москва может быть оставлена без боя, между тем как Кутузов пришел к твердому убеждению, что новая битва с Наполеоном под Москвою невозможна

<sup>1</sup> Там же, стр. 194.

<sup>2</sup> Выписки из писем историографа Н. М. Карамзина к брату его В. М. Карамзину. «Московский литературный и ученый сборник на 1847 год». М., 1817, стр. 376.



и что спасение России зависит не от сохранения Москвы, а от сохранения армии, от увеличения ее боеспособности и от широчайшего разлива народной войны.

Тот же А. Я. Булгаков передает замечательный разговор, происшедший вскоре после Бородина, между Н. М. Карамзиным и Ростопчиным:

«Карамзин скорбел о Багратионе, Тучковых, Кутайсове, об ужасных наших потерях в Бородине и, наконец, прибавил: «Ну! мы испили до дна горькую чашу... но зато наступает начало его, и — конец наших бедствий. Поверьте, граф: обязан будучи всеми успехами своими дерзости, Наполеон от дерзости и погибнет!»

Казалось, что прозорливый глаз Карамзина открывал уже убийственную скалу св. Елены. В Карамзине было что-то вдохновенного, увлекательного и вместе с тем отрадного. Он возвышал свой приятный мужественный голос; прекрасные его глаза, исполненные выражения, сверкали, как две звезды в тихую ясную ночь».

Ростопчин «сказал Карамзину с досадой: «Вы увидите, что он вывернется!» Карамзин с каким-то твердым убеждением возразил: «Нет, граф! тучи, накапливающиеся над головой его, вряд ли разойдутся!.. У Наполеона все движется страхом, насилием, отчаянием; у нас все дышит преданностью, любовью, единодушием... Там сбор народов, им угнетаемых и в душе его ненавидящих; здесь одни русские... Мы дома, он как бы от Франции отрезан. Сегодня союзники Наполеона за него, а завтра они все будут за нас!.. Можно ли думать, чтобы австрийцы, пруссаки охотно дрались против нас? Зачем будут они кровь свою проливать? Для того ли, чтобы утвердить еще более губительное, гнусное могущество всеобщего врага? Нет! Не может долго продолжиться положение, сделавшееся для всех нестерпимым!»

Это воодушевление Карамзина выразилось впоследствии в его большом стихотворении «Освобождение Европы», где он ярко показал поражение Наполеона в непосильной борьбе с русским народом.

Когда Карамзин уехал, Ростопчин спросил Булгакова:

«Как вам показался давеча Карамзин? Не правда ли, что в его речах слишком много было поэтического восторга?.. Но я более дам веры словам и мнению военных:

Платов и Васильчиков бояться за Москву: неизвестно, станут ли ее отстаивать? Другого Бородину ожидать нельзя, а ежели падет Москва... что будет после? Последствий нельзя исчислить»<sup>1</sup>.

Ростопчин не договорил: после Москвы падет Россия. Таково было убеждение, разделявшееся множеством людей, военных и невоенных.




<sup>1</sup> А. Я. Булгаков. Разговор неаполитанского короля Мюрата с генералом графом М. А. Милорадовичем на аванпостах армии 14 октября 1812 года. «Москвитини», 1843. № 2, стр. 503—505.



*Н. А. Крылов*

## VIII

 ставление Кутузовым Москвы без «другого Бородин» и занятие ее войсками Наполеона произвело ни с чем не сравнимое впечатление. «Мысль о сдаче Москвы не входила тогда никому в голову, никому в сердце. Ясное понятие о настоящем редко бывает уделом нашим: тут ясновиденью много препятствуют чувства, привычки, то излишние опасения, то непомерная самонадеянность».

Так писал П. А. Вяземский через пятьдесят шесть лет после событий 1812 года<sup>1</sup>. Но в самое время переживаемых событий он разделял первоначальный общий ужас перед вступлением Наполеона в Москву и перед пожаром древней столицы. 16 октября Вяземский с отчаянием, ко-

<sup>1</sup> П. А. Вяземский. Полное собрание сочинений. Т. VII. СПб., 1882, стр. 192.

торое разделялось тогда тысячами людей, писал А. И. Тургеневу из Вологды: «Я был в армии и в чудесном деле 26 августа, казавшемся нам всем столь выгодным, но которого последствия обременили имя русского вечным стыдом — сдачею Москвы... Давно ли мечтали мы о славе, об успехах? Давно ли? И где это все, и когда это возвратится? Ночь ужасная окружает нас; мы бредем, и сами не знаем куда. Где осветят нас лучи наступающего утра и когда наступит оно?.. О Москве и говорить нечего. Сердце кровью обливается, и клянусь тебе честью, я еще не привыкаю к этой мысли. Каждое утро мне кажется, что я впервой еще узнаю об горестной ее участи»<sup>1</sup>.

Горестные чувства Вяземского, как сказано, разделялись тогда многими сотнями тысяч людей всякого «чина и звания». Но Вяземский, скорбя о пылающей Москве, никого не винит в ее оставлении без боя: он в числе немногих пожимал невозможность этого боя. Большинство же оплакивавших Москву из числа высшего общества и высших чинов армии упорно и слепо винили в ее участии Кутузова, ставя ему в укор, что он не дал Наполеону нового боя под ее стенами.

«Сегодня утром я был у проклятого Кутузова. Эта беседа дала видеть низость, неустойчивость и трусость вождя наших военных сил»,—так писал Ростопчин своей жене спустя шесть дней после Бородине, когда гибель Москвы была уже совершенно несомненною<sup>2</sup>.

В самом штабе Кутузова раздавались самоуверенные и заносчивые голоса, упрекавшие фельдмаршала в сдаче Москвы без боя. Один из старейших генералов, Беннигсен, разбитый Наполеоном под Фридрихсборгом, послал Александру I донос, обвиняя Кутузова в том, что Москва сдана им неприятелю без новой битвы, в которой Наполеон понес бы поражение. Александр I склонен был внимать этим наветам. В то время, как Кутузов, выведя армию из-под удара, занимался ее пополнением и усилением и в лагере под Тарутином выжидал лучшего времени для решительной схватки с Наполеоном, Александр I прислал мудрому вождю народной войны письмо

<sup>1</sup> Остафьевский архив князей Вяземских, том I, СПб., 1899, стр. 4.

<sup>2</sup> Е. Т а р л е. Наполеон. М., 1934, стр. 388.

(от 5 сентября), в котором сквозь холодную вежливость пробивается худо сдержанное неудовольствие на полководца. Не умея проникнуть в спасительные для России планы Кутузова, в скорости оправданные историей, Александр I укорял его в сдаче Москвы и в бездействии после отхода из нее: «С 2 сентября Москва в руках неприятельских. Последние ваши рапорты от 20 сентября и за все это время не только ничего не было предпринято для действия противу неприятеля и освобождения первопрестольной столицы, но даже, по последним донесениям вашим, вы еще отступили назад». Перечислив Кутузову города, занятые неприятелем, и вновь укорив его в бездействии, Александр закончил письмо почти угрозой Кутузову: «На вашей ответственности останется, если неприятель в состоянии будет отрядить значительный корпус на Петербург для угрождения сей столице, в которой остаются лишь немногие войска, ибо с вверенной вам армией, действуя с решимостью и деятельностью, вы имеете все средства отвратить сие новое несчастье. Вспомните, что вы еще обязаны дать ответ оскорбленному отечеству в потере Москвы»<sup>1</sup>.

Эти укорительные и резко-несправедливые строки писаны Александром I в тот самый день,— 5 октября,— когда русские войска под предводительством Кутузова завязывали сражение с французами при Тарутине,— то первое сражение, когда неприятель впервые принужден был отступить перед нашими войсками, бросить свои позиции и оставить в руках наших значительную часть своей артиллерии и обоза.

В лагере под Тарутином, незадолго до знаменитого сражения, впервые показавшего всем, что русские войска не только могут мужественно обороняться от армии Наполеона, но и наносить ей поражение,— в лагере под Тарутином Кутузов приобрел верного союзника в лице русского поэта: здесь В. А. Жуковский написал своего «Певца во стане русских воинов».

Товарищ Жуковского А. С. Кайсаров, «директор полковой типографии в главной квартире... отрекомендовал его фельдмаршалу Кутузову для лучшего употребления

<sup>1</sup> Цитирую по «Юбилейному сборнику в память Отечественной войны 1812 года». Калуга, 1912, стр. 82, 83.

таланта поэта в канцелярии, нежели в фронтовой службе. И вот, находясь постоянно при дежурстве главнокомандующего армиями, Жуковский сопровождал русские войска в дальнейшем его движении и сам сочинял и помогал Скобелеву<sup>1</sup> составлять бюллетени о сражениях, в которых он был свидетелем-очевидцем»<sup>2</sup>.

Пережив Бородино, участником которого был, и пожар Москвы, певец «Сельского кладбища» стал «Певцом во стане русских воинов», — боевые тревоги, прямое участие в трудах и днях Кутузова превратили Жуковского из элегического поэта, писавшего для немногих, в политического поэта, чей голос был слышен всей стране.

Поэт благословляет эту перемену всего строя своей лиры, этот перестрой ее под звон мечей:

Доселе тихим лишь полям  
Моя играла лира...  
Вдруг жребий выпал: к знаменам!  
Прости, и сладость мира,  
И отчий край, и круг друзей,  
И труд уединенный,  
И все... я там, где стук мечей,  
Где ужасы войны!

Лейтмотив «Певца во стане русских воинов» (мы не должны забывать, что этот «стан» не был вымыслом поэта, а был действительным лагерем под Тарутином) — один: это призыв к беспощадной борьбе с врагом, зов к воинствующей аспримируемости:

Меч во длань!  
Внимай нам, вечный Мститель!  
За гибель — гибель, брань — за брань!  
И казнь тебе, губитель!

Подобно Грибоедову в его «1812 годе», Жуковский вызывает воинственные тени Святослава, Донского, Петра, Суворова, — каждый из них — «предтеча в бой» за честь родины.

<sup>1</sup> Иван Никитич Скобелев (1778—1849), дед знаменитого генерала, состоял в 1812 году адъютантом Кутузова. В 1830-х годах он издал для солдат ряд книжек об Отечественной войне. Одна из них — «Письма из Бородина от безрукого к безногому инвалиду» (М., 1839).

<sup>2</sup> К. К. Зейдлиц. Жизнь и поэзия В. А. Жуковского. СПб., 1883, стр. 50, 51.

Жуковский властью певца-гражданина производит как бы смотр вождям русского воинства, оценивая доблесть и подвиги каждого из них.

Примечательно, что в их числе, как живые вожди, упоминаются павшие при Бородине Багратион и Кутайсов, и, наоборот, — в числе живых нет Ростопчина, врага Кутузова, нет Винценгероде, также враждебного Кутузову, и нет Баркляя-де-Толли, оставившего армию по недовольству руководством ею Кутузова. Центральное лицо, к которому взывает «Певец», как к народному вождю, — это Кутузов.

В эпоху, когда над Кутузовым висели тяжкие обвинения в оставлении Москвы без боя, укоры в ее гибели под огнем, в бесконечном отступлении внутрь России, в бездествии, в эпоху, когда эти обвинения старый фельдмаршал слышал от царя и от молодого офицера, от Ростопчина и от иностранного дипломатического агента, когда эти наветы носились в воздухе между Петербургом и штабом Кутузова, — Жуковский смело возносит Кутузову исключительную хвалу, пред которой бледнеет все, что он говорит в «Певце» о других генералах и о самом царе:

Хвала тебе, наш бодрый вождь,  
Герой под сединами!  
Как юный ратник, вихрь и дождь,  
И труд он делит с нами.  
О, сколь с израненным челом  
Пред строем он прекрасен!  
И сколь он хладен пред врагом,  
И сколь врагу ужасен!  
О, диво! се орел пронзил  
Над ним небес равнины...  
Могучий вождь главу склонил;  
Ура! кричат дружины.  
Лети ко прадедам, орел,  
Пророком славной мести!  
Мы тверды: вождь наш перешел  
Путь гибели и чести;  
С ним опыт, сын труда и лет;  
Он бодр и с сединою;  
Ему знаком победы след...

В этих прекрасных и сильных словах — вся биография любимого ученика Суворова, потерявшего глаз при штурме крепости, и вместе с тем в этих же словах заключена

предельно высокая оценка Кутузова, как вождя в текущей Отечественной войне.

Указав на высокие доблести Кутузова, как человека и полководца, «Певец» обращался к военным и штатским оппонентам Кутузова (а в их числе, конечно, и к царю) с требованием:

Доверенность к герою!..  
Нет, други, нет! не предана  
Москва на расхищенье!  
Там стены!.. В Россах вся она!  
Мы здесь — а бог наш мщенье!

«Певец» с негодованием отвергает обвинение Кутузова в оставлении Москвы на гибель: Москва не погибла,— утверждает он,— она жива своим героизмом и страданием в сердцах всех русских.

Жуковский раскрывает, согласно с заветным мнением самого Кутузова, великий смысл оставления Москвы и ее огненного страдания. Обращаясь к Наполеону, поэт с гневом грозит ему пожаром, еще более страшным, чем пожар Москвы,— неугасимым пламенем народной войны:

Сокровищ нет у нас в домах!  
Там стрелы и кольчуги;  
Мы села в пепел! грады в прах!  
В мечи — серпы и плуги!  
Злодей! Он лестью приманил  
К Москве свои дружины;  
Он низким миром нам грозил  
С Кремлевския вершины.  
«Пойду по стогнам с торжеством!  
Пойду... и все восплешет!  
И в прах падут с своим царем!»...  
Пришел... и сам трепещет;  
Подвигло мщенье Москву:  
Вспылала пред врагами  
И грянулась на их главу  
Губящими стенами.  
Веди ж своих царей-рабов  
С их стаей в область хлада;  
Пробей тропу среди снегов  
Во сретение глада..  
Зима, союзник наш, гряди!  
Им заперт путь возвратный;  
Пустыни в пепле позади;  
Пред ними сонмы ратны<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> В А. Жуковский, Полное собрание сочинений. Том II. СПб., 1902, стр. 4—7.



В этих могучих словах нельзя не видеть поэтического отзвука самых заветных мыслей Кутузова о том, что в Москве Наполеон вырыл могилу для своей славы и что гибель его армии predetermined всеми историческими и природными условиями борьбы с ним русского народа.

Жуковский представлял в своем «Певце» апологию Кутузова, как народного вождя, еще в то время, когда со всех сторон готовы были ему вручить обвинительный акт в гибели Москвы и России.

Всего через месяц после Тарутинской битвы, впервые сильно поколебавшей эти обвинения,— 6 ноября,— после счастливого для русских сражения под Красным, Жуковский, участник этого сражения, обратился к Кутузову с посланием, уже озаглавленным: «Вождю победителей»:

Я зред, как ты, вреди своих дружин,  
В кругу вождей, сопутствуем громами,  
Как божий гнев шел грозно за врагами:  
Со всех сторон дымились небеса;  
Окrest земля от громов колебалась.  
Сколь мысль моя тогда воспламенялась!  
О, старец вождь! Я мнил, что над тобою  
Тогда сам рок невидимый летел,  
Что был сокрыт вселенныя предел  
В твоей главе, венчанной сединою!

Оба произведения, написанные Жуковским, как прямым свидетелем славных «трудов и дней» Кутузова на войне, стали тотчас же известны всей России. «Певец во стане русских воинов» и «Вождю победителей» появились в последних книжках (21—24) «Вестника Европы» за 1812 год; послание к Кутузову тотчас же было перепечатано в «Сыне отечества» и вышло затем отдельной брошюрой; «Певец» дважды вышел отдельными изданиями в январе — мае 1813 года. Оба произведения распространились сверх того в бесчисленных списках; отдельные строфы «Певца» распевались, как патриотические песни. Этот успех понятен.

Жуковский явился выразителем народного отношения к Кутузову, как истинному вождю народной борьбы с Наполеоном. Жуковский покинул армию лишь тогда, когда в Вильне заболел тифом и принужден был лечь в госпиталь.

За отличие в сражениях при Бородине и Красном Жу-

ковский был награжден чином штабс-капитана и орденом Анны 2-й степени. Когда, через двадцать семь лет, он присутствовал на Бородинском поле, при открытии памятника в честь великой битвы, он получил другую высшую награду: «В армии многие повторяли моего «Певца в стане русских воинов», песню-современницу Бородинской битвы. Признаюсь, это меня тронуло до глубины сердца. Жить в памяти людей по смерти не есть мечта: это высокая надежда здешней жизни. Но меня вспомнили заживо, новое поколение повторило давнишнюю песню мою на гробе минувшего»<sup>1</sup>.

Другим выразителем народного отношения к Кутузову, другим мощным его сторонником против его врагов в придворно-официальных кругах явился писатель, имевший в то время самый широкий доступ к народному читателю,— баснописец Иван Андреевич Крылов (1769—1844). В самую спокойную из литературных форм, в басню, он внес политическую и военную тревогу своей эпохи.

В басне «Обоз» Крылов дал настоящую апологию стратегии Кутузова: своей мнимой медлительностью он сохранил армию («обоз» с горшками) от гибели, ожидавшей ее при ускоренном, преждевременном столкновении с Наполеоном. Неимоверный труд, взятый на себя Кутузовым, выражен Крыловым с большою силою:

Конь добрый на крестце почти его понес,  
Катиться возу не давал,  
А лошадь сверху молодая  
Ругает бедного коня за каждый шаг:  
«Ай, конь хваленый, то-то диво!  
Смотрите: лепится, как рак»<sup>2</sup>.

В басне «Ворона и курица» Крылов начинает с того, что изображает оставление Москвы не промахом Кутузова, а, наоборот, величайшим актом его стратегии:

Когда Смоленский князь,  
Противу дерзости искусством вооружась,  
Вандалам новым сеть поставил  
И на погильель им Москву оставил.

<sup>1</sup> В. А. Жуковский Полное собрание сочинений. Том XII. СПб, 1902, стр. 55.

<sup>2</sup> Басня появилась в печати в ноябре 1812 года, в 7-й книжке «Сын отечества».

В этих словах, как нельзя более ясно, Крылов присоединяется к тем, кто, подобно Жуковскому, А. И. Тургеневу, Д. Давыдову и другим, вопреки приговору Александра I, Беннигсена, Ростопчина и других, видел в оставлении Кутузовым Москвы великолепно расставленную «сеть» Наполеону, неминуемо толкавшую его «на погибель». Оставление Москвы жителями, общий исход населения из столицы Крылов рассматривал в своей басне точно так же, как впоследствии рассматривал его Л. Н. Толстой в «Войне и мире»: как акт народной борьбы против завоевателя:

Тогда все жители, и малый, и большой.  
Часа не тратя, собрался  
И вон из стен Московских поднялся,  
Как из улья пчелиный рой.

Любопытно, что даже это сравнение Москвы с пчелиным роем, оставляющим улей, находим у Толстого: ему посвящена 22-я глава 3-й части 3-го тома «Войны и мира». Курицу, выбирающуюся из Москвы по той причине, «что у порогу наш супостат», Крылов изображает образцом не только житейского благоразумия, но и патриотического чутья. А ворону, отказывающуюся от общенародного исхода из Москвы: «Мне что до этого за дело?» и надеющуюся «с гостями ужиться», приспособиться к новой власти, Крылов казнит беспощадно:

...вместо всех поживок ей,  
Как голодом морить Смоленский стал гостей,—  
Она сама к ним в суп попалась.

Из «морали» басни явствует, что в положении вороны оказался сам Наполеон:

Так часто человек в расчетах слеп и глуп.  
За счастьем, кажется, ты по пятам несешься:  
А как на деле с ним сочтешься —  
Попался, как ворона в суп!

«Смоленский князь», — так поучает баснописец, — сварил тот голодный «суп», в который попался Наполеон.

В басне «Волк на псарне» Крылов поставил лицом к лицу «седого ловчего» — Кутузова с «серым забиякой» —

Наполеоном: басня излагает историю тщетных попыток Наполеона вступить с Кутузовым в переговоры о мире (посылка Лористона в ставку Кутузова с письмом Наполеона). Вся Россия<sup>1</sup>, — и в том числе сам Кутузов, — повторяла наизусть конец басни:

«Ты сер, а я, приятель, сед,  
И волчью вашу я давно натуру знаю;  
А потому обычай мой:  
С волками иначе не делать мировой,  
Как снявши шкуру с них долой».  
И тут же выпустил на волка гончих стаю.

Крылов послал басню «Волк на псарне» Кутузову с полковником Мишо, привезшим фельдмаршалу награды от Александра за Тарутинскую победу.

В басне «Щука и кот» Крылов с едким сарказмом высмеял неудачливого адмирала Чичагова, упустившего Наполеона под Березиной: уведомленный Кутузовым («Кот» крыловской басни) о переправе войск Наполеона через Березину у Студенки, Чичагов — как уверяла в то время общая молва — из-за вражды к Кутузову намеренно запоздал с войском и благодаря этому дал Наполеону возможность переправиться на правый берег.

Басни Крылова, поддерживавшие Кутузова, как народного вождя, имели неслыханный успех в армии и в широких кругах общества. К. Н. Батюшков писал Н. И. Гнедичу, подбивая Крылова на дальнейшую деятельность в том же народно-патриотическом духе: «Скажи Крылову, что ему стыдно лениться и в армии его басни все читают наизусть. Я часто их слышал на биваках с новым удовольствием»<sup>2</sup>.

В героических звуках Жуковского, в народной мудрости Крылова сквозила уверенность в том, что Наполеону никакими усилиями не залить пламя народной войны и что Кутузов знает путь, ведущий к победе.

<sup>1</sup> Басня «Волк на псарне» появилась еще в октябре 1812 года во 2-й книжке только что основанного «Сына отечества».

<sup>2</sup> К. Н. Батюшков. Сочинения. Письмо от 30 октября 1813 года. Изд. 5, СПб., 1887, стр. 480.



*Н. И. Тургенев*

## IX



тихи Жуковского, басни Крылова и произведения других писателей, шедших за ними, поднимали дух в обществе и устанавливали верное воззрение на гибель Москвы, как на великое

поражение ее завоевателя.

Александр Иванович Тургенев (1784—1845), друг Жуковского и Вяземского, писал последнему: «Зная твое сердце, я уверен, что ты не о том, что потерял в Москве, но о самой Москве тужишь и о славе имени русского; но Москва снова возникнет из пепла, а в чувстве мщенья найдем мы источник славы и будущего нашего величия. Ее развалины будут для нас залогом нашего искупления, нравственного и политического; а зарево Москвы, Смоленска и пр. рано или поздно осветит нам путь к Парижу. Это не пустые слова, но я в этом совершенно уверен, и события оправдают мою надежду. Война сделавшись национальной, приняла теперь такой

оборот, который должен кончиться торжеством севера и блистательным отмщением за бесполезные злодейства и преступления южных варваров. Ошибки генералов наших и неопытность наша вести войну в недрах России, без истощения средств ее, могут более или менее отдалить минуту избавления и отражения удара на главу виновного; но постоянство и решительность правительства, готовность и благоразумие народа и патриотизм его, в котором он превзошел самих испанцев, ибо там многие покорялись Наполеону и составились партии в пользу его; а наши гибнут, гибнут часто в неизвестности, для чего нужно более геройства, нежели на самом поле сражения; наконец, пример народов, уже покоренных, которые, покрывшись стыдом и бесславием, не только не отразили удара, но даже и не отсрочили бедствий своих (ибо конскрипции съедают их, и они, участвуя во всех ужасах войны, не разделяют с французами славы завоевателей-разбойников). Все сие успокаивает нас насчет будущего, и если мы совершенно откажемся от эгоизма и решимся действовать для младших братьев и детей наших и в собственных настоящих делах видеть только одно отдаленное счастье грядущего поколения, то частные неудачи не остановят нас на нашем поприще. Беспрестанные лишения и несчастья милых ближних не погрузят нас в совершенное отчаяние, и мы преднасладимся будущим и, по моему уверению, весьма близким воскресением нашего отечества. Близким почитаю я его потому, что нам досталось играть последний акт в европейской трагедии, после которого автор ее должен быть непременно освистан. Он лопнет или с досады или от бешенства зрителей, а за ним последует вся труппа его. Сильное сие потрясение России освежит и подкрепит силы наши и принесет нам такую пользу, которой мы при начале войны совсем не ожидали».

Свое письмо к Вяземскому А. И. Тургенев заключает словами, выражающими благоговейное изумление пред подвигом русского народа:

«Какой народ! Какой патриотизм и какое благоразумие! Сколько примеров высокого чувства своего достоинства и неограниченной преданности и любви к отечеству!»<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Остафьевский архив князей Вяземских, том I, письмо от 27 октября 1812 года, СПб., 1899, стр. 6, 7.

Лучшая оценка этого замечательного письма А. И. Тургенева, ходившего в ту пору по рукам, принадлежит адресату письма, Вяземскому:

«Немногие из политических и государственных людей того времени так спокойно и так верно смотрели на совершающиеся события, так здраво оценивали последствия и плоды, которые Россия могла бы извлечь из нагрянувшего на нее бедствия, и так метко указывали на развязку этой потрясающей и кровавой драмы.

Остолопов, которому в Вологде показывал я это письмо, присвоил себе и переложил на стихи одну строку из сего письма. В одном из стихотворений своих сказал он:

Но что еще предвижу?  
Нам зарево Москвы осветит путь к Парижу»<sup>1</sup>.

Оставление Москвы ее населением и пожар Москвы были восприняты в сознании русского народа как самоотверженная жертва, принесенная для спасения России. Участник войны 1812 года Ф. Н. Глинка в своем позднейшем стихотворении «Москва» (1841) обращался к героическому городу с пламенным приветом от лица русского народа:

Ты не гнула крепкой выи  
В бедовой своей судьбе:—  
Разве пасынок России  
Не поклонится тебе!..

Ты, как мученик, горела,  
Белокаменная!  
И река в тебе кипела  
Бурио-пламенная...  
И под пеплом ты лежала  
Полоненною,  
И из пепла ты восстала  
Неизменною<sup>2</sup>.

Это стихотворение Ф. Н. Глинки стало народной песней, бытовавшей на всем пространстве России. Огненный

<sup>1</sup> «Русский архив», 1866, столбец 218. Приведенные Вяземским стихи взяты из послания Н. Ф. Остолопова (1782—1833) к Кутузову: «Победителю Наполеона» (СПБ., 1813).

<sup>2</sup> Сборник лучших произведений русской поэзии. Издание Николая Щербины. СПБ., 1858, стр. 74, 75.

подвиг Москвы нашел отражение и у современных поэтов других народностей. Немецкий поэт Т. Кёрнер, ревностный боец пером и мечом против Наполеона, в стихотворении «Москва», восхвалив красоту и величие древнего города, писал с благоговением:

Но час твой бил, о город величавый!  
Твои граждане руку поднимают,  
Трещит огонь и факелы пылают,  
И ты стоишь в горячей ризе лавы!  
О, пусть тебя поносит иступленье:  
Ломитесь, башни, рушьтеся, палаты!  
То русский феникс, пламенем объятый,  
Горит векам. Но близко искупленье:  
Уже под клик и общие восторги  
Копье побед поднят святой Георгий.

*Перевод А. А. Фета.*

Чешский поэт Ф. Л. Челаковский, собиратель и переводчик русских песен, посвятил Москве превосходное стихотворение «Великая панихида». Вот отрывок из него:

Дети матери великой,  
Милой родины защита!..  
За любовь, за жертвы ваши,  
Что вы душу положили  
За народ свой и за землю,  
В память вечную вам, братья,  
Мы отнесли панихиду,  
Что не видано на свете  
И не слышано доныне!..  
Но за всех нас, славно наших,  
Свеч у нас не доставало,  
Воску вдоволь не хватало,  
И под небом — храмом божьим —  
Мы зажгли от всей России  
Лишь одну свечу большую —  
Матушку Москву родную,  
Чтобы та свеча горела  
Всем за упокой душевный,  
А врагам на посрамленье.

*Перевод И. Ф. Щербини.*

Величайшую хвалу самосожжению Москвы, как подвигу русского народа, воздал Байрон в своей поэме «Бронзовый век». Великий британский поэт обращается к Наполеону:



Москва — побед твоих предел!  
 Чтоб увидеть верха ее златые,  
 Суровый Карл лил слезы ледяные,  
 И тщетно! — Ты ее узрел.  
 И что ж увидел ты? Ее дворцы и храмы,  
 Все рушилось, все пожирало пламя!  
 Кто ж раскалил пожар жестокий в ней?  
 Свой порох отдали солдаты,  
 Солому с кровли нес своей  
 Мужик; товар дал свой купец богатый,  
 Свои палаты каменные — князь,  
 И вот Москва отсюду занялась!

Пожар Москвы стал самой героической главой из героической летописи 1812 года — так, как она отражена в сознании русского народа и, более того, в сознании европейских народов, освобожденных жертвами русского народа от подчинения диктатуре наполеоновской Франции.

В непосредственном отклике русских людей 1812 года на захват Москвы французами и на ее пожар господствует одно чувство: желание отплаты, воинственного возмездия. После занятия Москвы французами усиливается, в несравненной степени, партизанское движение, увеличивается приток добровольцев в народное ополчение.

Историограф Н. М. Карамзин одним из последних покинул Москву, оставленную русскими войсками<sup>1</sup>, но покинул с мыслью вернуться в нее вместе с ополчением, выступившим на ее освобождение. Карамзин, по словам Вяземского, «отправился было из Нижнего с тамошним ополчением к Москве для предполагаемого ее освобождения, но дело обошлось, пишет он ко мне, без меча историографского»<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> В Москве, захваченной французами, оставался известный в свое время писатель сентиментальной школы кн. Петр Иванович Шаликов (1767—1852). Последний номер издававшегося им журнала «Аглая» вышел в июне 1812 года. Шаликов не допускал мысли о том, что французы займут Москву. По его словам, патристическое честолюбие вместе с другими обстоятельствами заставило его остаться в Москве, «удержать свое семейство и нашествие Вандалов почитать химерою». Свой рассказ о пребывании в Москве, занятой французами с 1 сентября по 16 октября, Шаликов издал в 1813 году под названием: «Историческое известие о пребывании в Москве французов 1812 года».

<sup>2</sup> Остафьевский архив, том I, СПб., 1899, стр. 9.

Вступление Наполеона в Москву произвело потрясающее впечатление на будущего декабриста Николая Ивановича Тургенева (1789—1871), работавшего в Петербурге, в тиши писательского кабинета, над своей знаменитой книгой «Опыт теории налогов».

«Французы в Москве, как? что?— Это меня сразило. Пребывание здесь делается мне несносным. Я хочу ехать в Симбирск, вступить в ополчение и идти против неприятеля. Я давно этого хочу, но хотеть не довольно... Я беспрестанно мучусь оттого, что здесь, и эта мысль ест мне сердце, как ржавчина железо».

Будущий автор книги «Россия и русские» («La Russie et les Russes») желал ответить на плен Москвы так, как ответили тогда многие тысячи русских людей всякого чина и звания: оружием.

«Москва!— обращается Тургенев к столице русского народа.— Кого ты видишь в стенах своих? Неужели это останется без отмщения?» Тургенев не перестает сетовать на себя с тоскою:

«Мне 23 года. Какая несчастная молодость!.. Теперь сижу я один и раздумался о положении моего Отечества. Какое несчастье может сравниться с взятием и сожжением Москвы?.. Мне кажется, что я всего лишился на свете... Москва! Россия! Я теряюсь в горести и иступлении!»

Но, как ни сильно патриотическое горе Тургенева, оно не ведет его к политическому унынию. На другой же день он твердо вписывает в дневник: «Все желают продолжения войны».

16 октября 1812 года, после Тарутинского сражения, Н. Тургенев писал, счастливый от сбывающихся надежд:

«Москва избавлена от иноплемennых. Мюрат был разбит Кутузовым. Победа славная, как все говорят. Радость здесь неописанная. Слава народу Русскому! Слава храброму воинству! Слава Кутузову! Кутузову слава! Ах, если сбудется сказанное (как говорят) Кутузовым: Москву-то он увидит, да Парижа-то ему не видать».

С удивительным единодушием Н. Тургенев присоединяется здесь к голосам Жуковского, Вяземского, русских солдат: в Париже будет отомщена Москва: «Тогда только европейцы, могущие ценить народ русский по наружным явлениям, возымеют должное уважение к нему. А я,

право, не могу без слез вспомнить о том великом народе, который люблю не потому, что принадлежу к нему».

Пламенная вера в историческое призвание русского народа — вернуть европейским народам их самобытное существование и освободить их от власти международного диктатора была оправдана историей: уже 15 ноября Н. Тургенев имел возможность записать в дневнике: «Храбрость и правая сторона восторжествовала. В несколько дней увяли лавры, украшавшие французских предводителей. Так и быть должно. Наконец всякий имеет свое: Русские — славу, французы — бесславление и стыд. 12 000 французов сдалось вдруг под Смоленском. Немцы должны обрадоваться, найдя себе подобных, да еще в своих повелителях. Сей пример может возродить в них желание возвыситься над своими тиранами. Кутузов открыл глаза Европе. Что касается до Русских, они никогда в общем заблуждении не были и всегда чувствовали свое превосходство над французами во всем, относящемся до храбрости и искусства»<sup>1</sup>.

Высокая гуманистическая гордость за свой народ звучит в этих словах будущего декабриста: народ-освободитель, народ-свободолюбец: вот тот титул, который готов поднести Тургенев своему родному народу за его подвиг народной войны, совершенный в 1812 году.

Н. И. Тургенев не остался в Петербурге. В 1813 году он уехал в Германию, где русская армия вместе с союзниками вела ожесточенную борьбу с Наполеоном. Н. И. Тургенев стал правой рукой известного врага Наполеона Штейна, который, по воле союзников, был поставлен во главе временного Центрально-административного департамента, преследовавшего две задачи: управление немецкими областями, отнятыми у французов, и изыскание и распределение между союзниками средств для ведения войны. Разделяя тревоги и труд войны, Н. Тургенев вступил вместе с русскими войсками в Париж.

В Париже он с гордостью записал в свой дневник: «Наша Русская Армия отличалась перед всеми прочими не только храбростью, но и лучшим поведением. Теперь французы в восхищении от наших офицеров... После

<sup>1</sup> Архив братьев Тургеневых. Вып. 3. Дневники Н. И. Тургенева под ред. Е. И. Тарасова. СПб., 1913, стр. 204—208.

того, что Русский народ сделал, что сделал государь, что случилось в Европе, освобождение крестьян мне кажется весьма легким, и я поручился бы за успех даже скорого переворота. Дух разума, которым Русский народ дышит вместе с атмосферою, предупредит их беспорядки»<sup>1</sup>.

Уничтожение крепостного права Н. Тургенев, как и другие будущие декабристы, участники войны 1812—1815 годов, считал делом простой справедливости по отношению к русскому крестьянству, засвидетельствовавшему пред всей Европой доблесть и глубокое человеческое достоинство, проявленные им в освободительной войне. Известно, что на эти чаяния Александр I ответил укреплением народной неволи: победителям Наполеона готовилась каторга «военных поселений».



<sup>1</sup> Там же, стр. 252, 253.



*Н. И. Лажечников*

## Х

**П**атриотические переживания, вызванные захватом Москвы, с большой силой и искренностью выражены в автобиографическом очерке **Ивана Ивановича Лажечникова** (1792—1869): «Новобранец 1812 года».

Будущий автор «Ледяного дома» и «Басурмана» только пробовал еще тогда свои силы в литературе. Одним из первых его опытов было стихотворение на патриотическую тему: «Военная песня» («Русский вестник», 1808).

«В роковые двадцатые числа рокового 12-го года,— рассказывает Лажечников,—находился я в Москве. Вышедши только что из-под опеки гувернеров, messieurs Beaulieu и маркизов Жульекуров, еще недавно архивный юноша, проглотивший с двенадцатилетнего возраста немало пыли при разборе полусгнивших столбцов, ...я рвался в ряды военные и ждал на это разрешения. Сердце мое радостно

билось при одной мысли, что я скоро опояшусь мечом и кружо поговорю с неприятелем за обиды моему отечеству. В войну 12-го года, истинно народную, патриотизм воспламенял и старцев и юношей. Порою рисовалось моему юношескому воображению зарево биваков, опасное участие в ночном пикете, к которому ветерок доносит жуткий говор неприятеля, жаркая схватка, отважная выручка... Вместо ожидаемого разрешения, получаю от отца приказ немедленно к нему явиться. Я плакал, как ребенок, но скоро одумался. «Чего бы ни стоило,— сказал я сам себе,— а буду военным, хоть бы солдатом».

Между тем как дядька мой устраивал дорожные сборы, поехал я за город, к Филям и на Поклонную гору, куда народ стекался смотреть на пленных французов, взятых в деле бородинском... В Филях нашел я действительно много пленных разнородных наций. В речах и поступках своих французы казались в это время не пленниками нашими, а передовыми великой армии, посланными занять для нее квартиры в Москве.

Когда я выехал из Филей, на Смоленской дороге показался в клубах пыли обоз, которому не видно было конца. Везли раненых. Поезд тянулся в несколько рядов и затруднился у Драгомиловского моста. Сделалась остановка. Надо было видеть в это время усердие москвичей к воинам, пролившим кровь свою за отечество. Калачи летели в повозки, сыпались деньги пригоршнями, то и дело опорожнялись стаканы и кувшины с квасом и медами; продавцы распоряжались добром своих хозяев, как своею собственностью, не только не боясь взыскания, но еще уверенные в крепком спасибо; восклицаниям сердечного участия, благословениям, предложениям услуг не было конца. Облако пыли большею частию заслоняло это зрелище, и только изредка, когда ветерок смахивал ее или густой луч прорезывал, видно было то добродушное лицо бородача, который подавал свою лепту, то лицо воина, истомленное, загорелое, покрытое пылью, то печальные черты старушки, которая, облокотясь на телегу, расспрашивала о своем сыне служивом. В один из этих просветов пал на меня болезненно-унылый взор раненого офицера. Ему могло быть лет двадцать пять с небольшим; смертная бледность покрывала прекрасное

и благородное лицо его; одна рука была у него в перевязи, другую опирался он на задок телеги, где лежало несколько солдат. Невольное чувство увлекало меня к нему. «Неужели не сыскалось для вас повозки?» — спросил я его. «Была, — отвечал он, — но случились раненые тяжелее меня. Слава Богу, я могу еще дойти». При этих словах с трудом приподнялся из телеги один из солдат, лежавший в ней, и сказал со слезами на глазах: «Его благородие — наш ротный командир; нам четвертым раненым было тесно в одной телеге, он уступил нам свою». Тут он не мог продолжать и опустился в повозку».

Лажечников прожил недолго в деревне под Коломной.

«Через несколько дней узнали мы, что Москва занята неприятелями. В первый вечер, следовавший за печальной вестью, в северной стороне от нашей деревни разостлалось по небу багровое зарево: то горел, за восемьдесят верст от нас, первопрестольный город, и всем нам казалось, что горит наше родное пепелище. Несколько дней сряду, каждый вечер, Москва развertyвала для нас эту огненную хоругвь... Никто не помышлял о покорности неприятелю, о том, чтобы оставаться в своих домах, бить ему челом. Ожидали его только с тем, чтобы в виду его спалить свои жилища. Имуущество поценнее хоронили в погребах, под овинами и под клетями, в лесах, но топоры и косы приберегали на случай под рукою. Стали к нам приближаться переселенцы с тех мест, которые занял уже неприятель. Толпы, большею частью дети, женщины, старики, переходили с места на место, нередко по ночам освещаемые кострами, воздвигаемыми из собственных домов. Где могло оставаться это переселение? Никто не ведал; знали только, что к восходу солнечному, к Сибири, шел народ.

В эту тяжкую годину все делились между собою, как братья; каждый, кто бы он ни был, садился за чужой стол, как семьянин; многие богачи сравнялись с бедняками, и часто бедняк из сумы своей одолжал вчерашнего богача. Все это казалось в годину общего бедствия делом очень обыкновенным.

В это время стал я вновь проситься у родителей своих вступить в ряды военные, и опять напрасно».

Правдивый, задушевный рассказ Лажечникова о народном отношении к нашествию Наполеона полностью совпадает с тем, что мы уже знаем от С. Н. Глинки: он лишний раз свидетельствует о единодушии и единомыслии народном. С большой яркостью рисует Лажечников сцену, свидетелем которой он был на дороге в Рязань.

«Близ первой почтовой станции... расположили мы свой табор для полдневания. Раскинутые по лугу бесчисленные палатки, табун коней, оглашающих воздух ржанием своим, зажженные костры, многолюдство, пестрота возрастов и одежд, немолчное движение,— все это представляло зрелище прекрасное, но могло ли это зрелище восхищать нас?.. Когда мы подходили к стационарному дому, возле него остановилась колясочка: она была откинута. В ней сидел — Барклай-де-Толли. Его сопровождал только один адъютант. При этом имени почти все, что было в деревне, составило тесный и многочисленный круг и обступило экипаж. Смутный ропот пробежал по толпе... Не мудрено... отступление к Москве расположило еще более умы против него...»

Лажечников не расставался с мыслью о вступлении в армию.

«...Я стал вновь проситься у родителей моих позволить мне идти в военную службу — и получил опять тот же отказ. Тогда я дал себе клятву исполнить мое намерение во что бы то ни стало, бежать из дому родительского, и, как я не имел служебного свидетельства, идти хоть в солдаты. Намерению моему пришел и скоро живое поощрение. В городе остановился отставной (помнится, штаб-офицер) кавалерист Беклемишев, поседлый в боях, который, записав сына в гусары, собирался отправить его в армию... Я открыл им свое намерение: старик благословил меня на святое дело, как он говорил, и обещался доставить в главную квартиру рекомендательное письмо, а молодые люди дали мне слово взять меня с собою. За душой не было у меня ни копейки: коломенский торговец-аферист купил у меня шубу, стоящую рублей 300, за 50 рублей, подозревая, что я продаю ее тайно... С этим богатством и дедовскою меховою курткой, покрытою зеленым рытым бархатом, шел я на службу боевую.



Назначен был день отъезда. Все приготовления хранились в глубочайшей тайне...»

Однако в тайну юноши проник его дядька Ларивон,— удивительно похожий на Савельича в «Капитанской дочке»,— и воспротивился побегу.

«...Я вышел в сени. Условный колокольчик зазвенел за воротами; я видел, как ямщик на лихой тройке промчался мимо них, давая мне знать, что все готово к отъезду. Еще несколько шагов в кремль, где жил Беклемишев, и я на свободе. Но в сенях встретил меня дядька мой Ларивон. «Худое, барин, затеяли вы,— сказал он мне с неудовольствием,— я знаю все ваши проделки. Оставайтесь-ка дома да ложитесь спать, не то я сейчас доложу папеньке, и вам будет нехорошо». Точно громовым ударом ошибли меня эти слова. Я обидно стал упрекать дядьку, что он выдумывает на меня небылицу, заверяя его, что я только хочу пройтись по городу... «Воля ваша,— продолжал он,— задние сени в сад у меня закрыты на замок; я стану на карауле в нижних сенях, что на двор, и не пропущу вас, а если вздумаете бежать силою, так я тотчас подниму тревогу по всему дому. У ворот поставил я караульного, и он то же сделает в случае удачи вашей вырваться от меня». Я переменял упрек на мольбу, я слезно просил его выпустить меня и нежно целовал его. Но дядька был неумолим... Отчаяние мое было ужасно; можно сравнить это положение только с состоянием узника, который подпилил свои цепи и решетку у тюрьмы, готов был бежать, и вдруг пойман... Дядька мой преспокойно сошел вниз. Проклиная его и судьбу свою, я зарыдал, как ребенок... Я вошел на балкон... Вдруг, с правой стороны балкона, на столетней ели, растущей подле него, зашевелилась птица. Какая-то неведомая сила толкнула меня в эту сторону. Вижу, довольно крепкий сук от ели будто предлагает мне руку спасения. Не рассуждая об опасности, перелезаю через перила балкона, бросаюсь вниз, цепляюсь проворно за сучок, висну на нем... как векша, сползаю проворно с дерева, обдираю себе до крови руки и колена... пробегаю минуты в три довольно обширный сад... От переулка, ближайшего к моей цели, был забор сажени в полторы вышины... Перелезаю через него, как искусный волтижер... Мои друзья уже давно ждали меня, сильно опа-

саясь, не случилось ли со мною какой невзгоды. Старый гусар благословил меня образом... на меня нахлобучили первый попавшийся на глаза картуз, мы сели в повозки и помчались, как вихрь.

...В Москву въехали мы поздно вечером... Неприятель уже оставил город; у заставы на карауле были изюмские гусары: они грелись около зажженных костров. Русские солдаты, русский стан были для нас отрадными явлениями. Мы благоговейно перекрестились, въезжая в заставу, и готовы были броситься целовать караульных, точно в заутреню Светлого Христова Воскресения. И было чему радоваться, было с чем братьям поздравить друг друга: Россия была спасена! Москва представляла совершенное разрушение: почти все дома были обгорелые, без крыш; некоторые еще дымились; одни трубы безобразно высились над ними; оторванные железные листы жалобно стонали; кое-где в подвалах мелькали огоньки. Мы просхали весь город до Калужской заставы, не встретив ни одного живого существа. Только видели два-три трупа французских солдат, валявшихся на берегу Яузы.

Народ с каждым днем прибывал в нес; строились против гостиного двора и на разных рынках балаганы и дощатые лавочки; торговля зашевелилась. Дымились на улицах кучи навоза, зажженные для ограждения от заразы мертвых тел».

Однажды, когда юный новобранец собирался уже отправиться в главную квартиру армии, он узнал, что приехал его отец. Лажечников спрятался в людскую, готовясь к новому побегу. Но услышал голос отца: «Пусть покажется Ваня, пускай придет; я его прощаю, я сам благословлю его на службу». Тут не колеблясь ни минуты, бросился я в его объятия, целовал его руки, обливая их слезами. Это была одна из счастливейших минут моей жизни»<sup>1</sup>.

Этот забытый рассказ хорошо вводит нас в дух эпохи, в атмосферу, которой дышалось в России в Отечественную войну. Так, как юный Лажечников, уходили, убегали на войну сотни русских юношей,—с теми же высокими

<sup>1</sup> И. И. Лажечников. Новобранец 1812 года. Полное собрание сочинений. Том I. СПб., 1899. (С большими сокращениями.)

чувствами и с той же непреклонной волей служить родине.

Лажечников был принят офицером в московское ополчение, а затем переведен в Московский гренадерский полк. Кампанию 1813—1814 годов он проделал в должности адъютанта начальника 2-й гренадерской дивизии. За взятие Парижа Лажечников получил орден.

С участием в походах против Наполеона соединена первая литературная известность Лажечникова; его «Походные записки русского офицера» (СПБ., 1820), печатавшиеся в отрывках в «Сыне отечества», имели в свое время не малый успех, в 1836 году потребовалось второе их издание.





*К. Ф. Рылев*

XI



оэт Константин Николаевич Батюшков (1787—1855), один из учителей Пушкина в искусстве слова, еще во вторую войну России с Наполеоном (1807) вступил

добровольцем в ополчение и был ранен в ногу в сражении под Гейльсбергом.

Война 1812 года застала Батюшкова хранителем рукописей Публичной библиотеки в Петербурге. Вскоре по оставлении французами Москвы Батюшков посетил многострадальный город и в послании к Д. В. Дашкову писал:

Мой друг! Я видел море зла  
И неба мстительного кары:  
Врагов неистовых дела,  
Войну и гибельны пожары.

.....

Трикраты с ужасом потом  
Бродил в Москве опустошенной,  
Среди развалин и могил,  
Трикраты прах ее священный  
Слезами скорби омочил.

Лишь угли, прах и камней торы,  
Лишь груды тел кругом реки,  
Лишь нищих бледные полки  
Везде мои встречали взоры!..

Нарисовав суровыми и правдивыми чертами картину опустошения неприятелем Москвы, Батюшков с негодованием отвергает призыв Дашкова вернуться к обычным идиллично-элегическим мирным темам его сладкозвучной лиры:

Среди военных непогод,  
При страшном зареве столицы,  
На голос мирных девицы  
Сзывать пастушек в хоровод!  
Мне петь коварные забавы  
Армид и ветреных Цирцей  
Среди могил моих друзей,  
Утраченных на поле славы!..  
Нет, нет! Талант погибни мой  
И лира, дружбе драгоценна,  
Когда ты будешь мной забвенна,  
Москва, отчизны край золотой!

Батюшков дает клятву:

Нет! Нет! пока на поле чести  
За древний град моих отцов  
Не понесу я в жертву мести  
И жизнь, и к родине любовь:  
Пока с израненным героем,  
Кому известен к славе путь  
Три раза не поставлю грудь  
Перед врагов сомкнутым строем,—  
Мой друг, дотоле будут мне  
Все чужды Музы и Хариты,  
Венки, рукой любви святы,  
И радость шумная в вине!<sup>1</sup>

Батюшков исполнил клятву, данную в этом послании. Он отказался от стихов с Музами и Харитами, составив-

<sup>1</sup> К. Н. Батюшков. Сочинения. М.-Л., «Academia», 1934, стр. 87, 88. Послание это имело большой успех у читателей, отвечая их патриотическим чувствам: за два года (1812—1814) оно было четыре раза напечатано в разных изданиях.

ших ему славу. Он вновь вступил в военную службу адъютантом к тому самому генералу Бахметеву, который потерял ногу при Бородине и которого он именует «израненным героем». Не дождавшись выздоровления Бахметева, горя желанием участвовать в сражениях, Батюшков перешел в адъютанты к генералу Н. Н. Раевскому, имя которого тесно связано с Пушкиным.

Батюшков проделал всю кампанию 1813—1814 годов, был участником сражения при Дрездене (15 августа 1813 года)<sup>1</sup> и победного для русских боя при Кульме (17, 18 августа). В кровопролитной битве народов при Лейпциге возле Батюшкова был тяжело ранен генерал Н. Н. Раевский.

«Направо, налево все было опрокинуто,— рассказывает Батюшков.— Одни гренадеры стояли грудью. Раевский стоял в цепи мрачен, безмолвен. Дело шло не весьма хорошо. Я видел неудовольствие на его лице, беспокойства ни малого. В опасности он истинный герой, он прелестен. Глаза его разгорятся как угли, и благородная осанка его поистине делается величественною... Французы усиливались, мы слабели, но ни шагу вперед, ни шагу назад. Минута ужасная. Я заметил изменение в лице генерала и подумал: «Видно, дело идет дурно». Он, оборотясь ко мне, сказал очень тихо, так что я едва услышал: «Батюшков, посмотри, что у меня», взял меня за руку (мы были верхами) и руку мою положил себе под плащ, потом под мундир. Второних и не мог догадаться, чего он хочет. Наконец, и свою руку, освободя от ново-

<sup>1</sup> В сражении при Дрездене присутствовал писатель Павел Петрович Свиньин (1787—1837), будущий основатель «Отечественных записок». Будучи секретарем русского генерального консула в Филадельфии, Свиньин сопровождал из Америки в Европу знаменитого генерала Моро, который в 1804 году был изгнан Наполеоном из Франции, а в войне 1813 года должен был, по желанию Александра I, стать во главе союзной армии. Свиньин находился при Моро, когда генерал был смертельно ранен под Дрезденом. Свиньин выпустил по-французски книжку о генерале Моро и об его последних часах («Détails sur le général Morcau et ses derniers moments suivis d'une courte notice biographique» par Paul Swinine. Paris, 1814). Статью Свиньина еще в рукописи прочитала г-жа де Сталь и в письме к автору дала лестный о ней отзыв (письмо г-жи де Сталь впервые напечатано в работе С. Дурьлина. «Г-жа де Сталь и ее русские отношения». «Литературное наследство», том 33, 34, М. 1939, стр. 286).

дов, положил за пазуху, вынул ее и очень хладнокровно поглядел на капли крови. Я ахнул, побледнел. Он сказал мне довольно сухо: «Молчи!» Еще минута, еще другая, пули летали беспрестанно; наконец Раевский, наклонясь ко мне, прошептал: «Отъедем несколько шагов: я ранен жестоко». Отъехали. «Скачи за лекарем!» Поскакал. Нашли двоих. Один решился ехать под пули, другой воротился». Когда Батюшков прискакал с лекарем к Раевскому, «на лице его видна бледность и страдание, но беспокойство не о себе, о гренадерах. Он все поглядывал за ворота на огни неприятельские и наши. Мы раздели его. Пуля раздробила кость грудную, но выпала сама собою... Кровь меня пугала, ибо место было весьма важно; я сказал это хирургу. «Ничего, ничего,— отвечал Раевский.— Чего бояться, господин поэт? (Он так называл меня в шутку, когда был весел.)

*Je n'ai plus rien du sang qui m'a donné la vie.*

*Ce sang c'est épuisé, versé pour la patrie»<sup>1</sup>.*

В сражении под Лейпцигом был убит друг Батюшкова, поэт и военный писатель, Иван Александрович Петин (1788—1813). С этим талантливым поэтом (известностью пользовались его басни «Осел и лев», «Волк и журавль», «Солнечные часы») и автором многих статей в «Военном журнале» (1810—1811) Батюшкова связывало давнее боевое товарищество. Вместе с Петиным Батюшков участвовал в войне с Наполеоном в 1807 году и в шведской войне 1809 года. Петин был героем Бородине; накануне битвы он писал оттуда Батюшкову, и поэт удивился спокойствию душевному, которое являлось в каждой строке письма, начертанного на барабане в роковую минуту. «...Так должен писать истинно военный человек, созданный для сего звания природою и образованный размышлениями; все внимание его должно устремляться на ратное дело, и все побочные горести и заботы должны быть подавлены силою души». При Бородине Петин был тяжело ранен: требовалось долгое лечение. «Но русские уже были за Неманом, и нетерпеливый Петин, едва вставший с постели, вырвался из объятий ма-

<sup>1</sup> «У меня нет больше крови, которая давала мне жизнь. Эта кровь истощилась, будучи пролита за отечество». К. Н. Батюшков. Сочинения. «Academia», стр. 373, 374.

тери своей и поспешил в Богемию по призыванию старого долга чести».

Участвуя вместе с Батюшковым в сражении при Кульме, Петин получил за это счастливое для русских дело орден Георгия 4-й степени. Под Лейпцигом Петина убило наповал пулей.

В своем «Воспоминании о Петине» (1815) Батюшков с неостывшею донныне теплотою воссоздал жизненный облик этого замечательного человека, беззаветно храброго бойца и одаренного писателя. На смерть Петина Батюшков написал элегию «Тень друга», о которой Пушкин отозвался: «Прелесть и совершенство — какая гармония!»

За отличие в битве под Лейпцигом Батюшков получил орден Анны 2-й степени.

Когда после ряда сражений, в которых Батюшков принимал участие, русские подошли к Рейну, на границу Франции, Батюшков написал «Переход через Рейн» — по отзыву Пушкина, «лучшее стихотворение поэта — сильнейшее и более всех обдуманное»<sup>1</sup>. В этих стихах, полных патриотического чувства, Батюшков вспоминал Москву, некогда им горько оплаканную, а ныне несущую избавление народам Запада:

Давно ли брег твой под ордами  
Аттилы нового стонал,  
И ты уныло протекал  
Между враждебными полками?—

обращается русский поэт к Рейну.

И час судьбы настал! Мы здесь, сыны снегов,  
Под знаменем Москвы с свободой и громами!  
Стеклись с морей, покрытых льдами,  
От струн полуденных, от Каспия валов,  
От воли Улеи до Байкала,  
От Волги, Дона и Днепра,  
От града нашего Петра,  
С вершин Кавказа и Урала,  
Стеклись, нагрянули за честь твоих граждан,  
За честь твердынь и сел, и нив опустошенных  
И берегов благословенных<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Пушкин. Сочинения. Том 9. М.-Л., 1937, «Academia», стр. 565, 594.

<sup>2</sup> Батюшков. Сочинения. Стр. 160, 161.



В этих обращениях поэта к Рейну подчеркивается освободительная цель похода русских войск в Германию и Францию.

Батюшкову, видевшему зарево Москвы, суждено было пройти весь исторический путь русских войск от Москвы до Парижа, как это предчувствовал А. Тургенев. 27 марта 1814 года Батюшков писал Гнедичу из-под стен Парижа: «Мы дрались между Нанжисом и Провинс... Оттуда пошли на Арсис, где было сражение жестокое, но не продолжительное, после которого Наполеон пропал со всей армией. Он пошел отрезать нам дорогу от Швейцарии, а мы, пожелав ему доброго пути, двинулись на Париж всеми силами от города Витри. На пути мы встретили несколько корпусов, прикрывающих столицу, и под Фер-Шампенуазе их проглотили. Зрелище чудесное! Вообрази себе тучу кавалерии, которая с обеих сторон на чистом поле врывается в пехоту, а пехота густой колонной, скорыми шагами, отступает без выстрелов, пуская изредка батальонный огонь. Под вечер сделалась травля французов. Пушки, знамена, генералы, все досталось победителям, но и здесь французы дрались как львы».

Дорога на Париж была открыта.

«С высоты Монترеля, — с величайшим волнением рассказывает Батюшков, выражая общее чувство, испытанное тогда всеми русскими, помнившими плен Москвы, — я увидел Париж, покрытый густым туманом, бесконечные ряды зданий, над которыми господствует Notre-Dame с высокими башнями. Признаюсь, сердце затрепетало от радости! Сколько воспоминаний! Здесь ворота Трона, влево Венсен, там высота Монмартра, куда устремлено движение наших войск. Но ружейная пальба час от часу становится сильнее и сильнее. Мы подвигались вперед с большим уроном через Баньолет к Бельвилю, предместью Парижа. Все высоты заняты артиллериею: еще минута, и Париж засыпан ядрами. Желать ли сего?»

Батюшков не отвечает на вопрос, заданный тогда тысячами русских людей, помнивших артиллерийский сокрушительный обстрел Смоленска, пожар Москвы, взрыв Кремля, организованный Наполеоном, но ответ дала история: этот страшный час, когда, по выражению Жуковского, «над Парижем стал орел Москвы и мщенья», оказался для Парижа и Франции первым часом мира: дым-

ное зарево Москвы было отомщено спокойным солнечным днем для Парижа.

«Французы выслали офицера с переговорами,— рассказывает Батюшков,— и пушки замолчали. Раненые русские офицеры проходили мимо нас и поздравляли с победою. «Слава богу! Мы увидели Париж со шпагою в руках!», «Мы отомстили за Москву!» — повторяли солдаты, перевязывая раны свои»<sup>1</sup>...

Подобные же чувства благородной и великодушной мести за Москву переживал в Париже другой русский офицер — поэт, будущий декабрист, К о н д р а т и й Ф е д о р о в и ч Р ы л е е в (1795—1826). Он был кадетом I петербургского кадетского корпуса, когда разразилась гроза 1812 года. Он страстно рвался в бой за родину, мечтая о героических подвигах. В письме к отцу от 7 декабря 1812 года он писал, что слышит голос сердца: «Иди смело, презирай все несчастья, все бедствия, и если оные постигнут тебя, то перенеси их с истинною твердостью, и ты будешь героем, получишь мученический венец и вознесешься превыше человеков». Рылеев с величайшей надеждою сообщал отцу: «Слышно, что будет выпуск в мае месяце будущего 1813 года. Мои лета и некоторый успех в науках дают мне право требовать чин офицера артиллерии, чин, пленяющий молодых людей до безумия, и который мне также лестен, но ничем другим, как только тем, что буду иметь я счастье приобщиться к числу защитников своего отечества... Я буду проситься в конную артиллерию»<sup>2</sup>.

В июне 1813 года Рылеев написал патриотическую оду «Любовь к отчизне», но мечта Рылеева — как можно скорее ринуться в бой с неприятелем — не сбылась: он только в феврале 1814 года был выпущен прапорщиком в артиллерийскую бригаду и в конце февраля был уже в Дрездене. После девятимесячного заграничного похода, в конце декабря 1814 года, он вернулся со своей артиллерийской бригадой в Россию, но в апреле 1815 года,

<sup>1</sup> Там же. Стр. 404, 405. — В числе писателей, находившихся в русской армии, вошедшей в Париж, был офицер лейб-гвардии Семеновского полка, Петр Яковлевич Чаадаев (1794—1856), будущий автор знаменитых «Философических писем».

<sup>2</sup> К. Ф. Рылеев. Полное собрание сочинений. М.-Л., «Academia», 1934, стр. 429, 430.

после возвращения Наполеона с острова Эльбы в Париж, вновь выступил в заграничный поход.

На этот раз Рылееву привелось войти в Париж. В письме из Парижа от 15 сентября 1815 года Рылеев выражает изумление пред величием событий, участником которых ему пришлось быть:

«Помнишь ли, как мы читали исторические описания славных деятелей Рима и древней Греции? Это басни!— восклицал ты часто. Сообрази теперешние случаи с тогдашними, и ты увидишь, что происшествия наших времен более достойны удивления, более невероятны, нежели все, до оных в мире случившиеся,— и ежели мы не верим чрезвычайным событиям лет протекших, то не знаю, как поверят потомки наши происшествиям, которые происходили при глазах наших. И как поверить, что один ничтожный смертный был причиной столь ужаснейших политических переворотов?! Как поверить, что в продолжение не более как десяти лет возрождалось и упало до десяти государств, восстанавлилось и низвергалось несколько монархов — и все по прихоти одного человека! Как наконец поверить, что сей самый человек, неоднократно повелевавший Судьбе, сам подпал под острие косы сей владелицы Мира!»<sup>1</sup>

Рылеев изумляется этому грозному велению судьбы, совершонному над Наполеоном, похитителем свободы народов, рукою великого русского народа, но он, подобно Батюшкову, Жуковскому, Пушкину, гордится тем, что русский народ, величественный в борьбе, беспощадный в гневе на врага, оказался столько же величествен и в дни своего торжества и победы.

Рылеев рисует в своих письмах из Парижа замечательную сцену:

«Триумфальные ворота, выстроенные по приказанию Наполеона, достойны служить памятником всяких побед! На верху оных стоит колесница с четырьмя коньми, а по бокам крайних по архангелу из свинца, работы чрезвычайной. Лошади сии, вывезенные из Венеции как триумфы побед Наполеона в Италии, при мне сняты австрийцами. Я ходил на высоту Арки, в намерении лучше рассмотреть сии достойные памятники славы — и получил

<sup>1</sup> Там же. стр. 374.

от одного солдата Цесарского кусок от вензеля Наполеона. Не одобряю поступок нашего союзника Франца II. Зачем раздражать народ действительно славный; зачем затрогивать честолюбие и гордость народную, двадцатилетними победами в сердцах утвердившуюся?.. Мы, Русские, совсем иначе обходимся. Наши союзники надменностью и жестокостью своею скоро выведут из терпения народ, в сердцах которого еще с прежнею горячностью кипит любовь к независимости и к Славе».

Рылеев приводит свой разговор с французским офицером после стычки парижан с пруссаками, наносившими им оскорбления:

«— Мы покойны, сколько можем, но союзники ваши скоро нас выведут из терпения. Мы французы, мы с чувствами!

— Я Русский, и вы напрасно говорите мне.

— Затем-то я и говорю, что вы Русский. Я говорю другу, ибо ваши офицеры, ваши солдаты так обходятся с нами... Но союзники — кровопийцы! Чего они хотят от нас?! Разве еще они не довольны бедствиями Франции, что ругаются над священнейшим сокровищем нашим — честью!..

— Полно, полно, прошу вас: мы не виноваты; мы, Русские — друзья ваши.

Я был совершенно растроган; он хотел говорить, но слова замирали от сердечной боли, слезы блистали на глазах его. Я посмотрел на Патриота — и увидел воина лет тридцати, украшенного легионом чести и орденом св. Людовика и... на деревяжке! Я поцеловался с ним»<sup>1</sup>.

Рассказ Рылеева о резком различии в обращении с побежденными русских и их тогдашних союзников — немцев из Пруссии и Австрии подтверждается многочисленными свидетельствами французских мемуаристов (среди них первое место занимает г-жа де Сталь) и историков.

Великий исторический подъем, переживавшийся тогда Россией и ее народом, был подъемом не только патристических, но и человеческих чувств: пламенный патриотизм лучших людей 1812—1815 годов умел уживаться с широким гуманизмом.

<sup>1</sup> Там же, стр. 376—378 (с сокращениями).

Этими же чертами отмечено и содружество меча и лиры в 1812 году.

В. К. Кюхельбекер, А. А. Дельвиг, А. С. Пушкин были еще в те годы за школьной скамьей, но и они рвались уже с лирой и мечом на общую борьбу.

Дельвиг в 1814 году написал патриотическую оду: «На взятие Парижа». Мать Кюхельбекера едва могла удержать его в октябре 1812 года — в эпоху страданий Москвы — от поступления в добровольцы.

Пушкин в 1815 году писал с восторгом об освобождении родины и низложении грозного завоевателя:

Вотще надменные на родину летели;  
Вотще впереди знамен бесчисленных дружин  
В могущей дерзости венчанный исполнил  
На гибель грозно шел, влек цепи за собою:  
Меч огненный блеснул за дымною Москвою!  
Звезда губителя потухла в вечной мгле,  
И пламенный венец померкнул на челе!

Но, гордясь подвигом Москвы и победою родного народа над великим полководцем, отрок-поэт с горестью и горечью сетовал:

А и... в дали громов, в сепи твоей надежной...  
Я тихо расцветал беспечный, безмятежный!  
Увы, мне не судил таинственный предел  
Сражаться за тебя под градом вражьих стрел!..  
Сыны Бородина, о Кульмские герои!  
Я видел, как на брань летели ваши строи;  
Душой восторженной за братьями спешил.  
Почто ж на бранный дол я крови не пролил?  
Почто, сжимая меч младенческой рукою,  
Покрытый ранами, не пал я пред тобою  
И славы под крылом на утре не почил?  
Почто великих дел свидетелем не был?

Но, не будучи участником «великих дел», как привелось быть Жуковскому, Вяземскому, Давыдову, Батюшкову, Рылееву, Грибоедову, Пушкин многие свои лучшие страницы и строфы наполнил, по его собственному выражению, «славою двенадцатого года».

В его стихах, посвященных — опять по его выражению — «чудесному походу», восстает и пылающая Москва со своим историческим самоотречением, и народный вождь Кутузов, и осторожный его предшественник Бар-

Клай-де-Толли, и поэт-партизан Денис Давыдов, и сам Наполеон, великий объект их борьбы и победы.

Все, совершенное тогда Россией, ее народом, армией и ее певцами, владевшими лирой и мечом, Пушкин выразил в немногих, но полных высокого смысла словах. Обращаясь к «Клеветникам России» с вопросом о причине их ненависти к России, поэт спрашивает:

За что ж? ответствуйте: за то ли,  
Что на развалинах пылающей Москвы  
Мы не признали наглой воли  
Того, пред кем дрожали вы?  
За то ль, что в бредну повалили  
Мы тяготеющий над царствами кумир  
И нашей кровью искупили  
Европы вольность, честь и мир?

История подтвердила эти слова великого поэта: без всякой похвальбы он верно подвел итог тому, что совершено русским народом для Европы в грозную эпоху войн 1812—1815 годов.

Но гордо и спокойно воздав должное своему народу, победителю величайшего полководца, Пушкин столь же спокойно и великодушно воздает должное и великому врагу своего народа, восклицая над одинокой могилой Наполеона:

Да будет омрачен позором  
Тот малодушный, кто в сей день  
Безумным возмунит укором  
Его развенчанную тень!  
Хвала!.. Он русскому народу  
Высокий жребий указал  
И миру вечную свободу  
Из мрака ссылки завещал.

В борьбе с Наполеоном русский народ выказал столько героической силы, внутренней правды и человеческого достоинства, что его «высокий жребий» в истории стал уже неоспоримым ни для кого. В 1812 году русский народ показал всему миру пример героической борьбы за свободу — и пример этой победоносной борьбы будет на вечные времена воодушевлять все народы в отстаивании своей внутренней и внешней свободы.





## XII



тема любви к родине и служения ей была всеобщей темой жизни и смерти каждого в эпоху 1812 года.

Отечество, отчизна, родина — из благородных чувств, высоких мыслей и сердечных ощущений превратились в воздух, которым дышал тогда всякий — от крестьянина-партизана до первого поэта страны. Произошла еще не бывавшая в России мобилизация всех писателей вокруг одной темы: родина.

Вся русская литература, от дряхлого Г. Р. Державина, допевавшего свою лебединую песню в «Гимне лиро-эпическом на прогнание французов из отечества», до юного Рылсва, начавшего свою героическую поэзию патриотической одой «Любовь к отчизне», — вся русская поэзия объединена была единой темой: любовь к родине. Поэты всех литературных направлений вживались в тему «родина», отыскивая и находя свои пути к ее отображению в своем творчестве.

Много лет после 1812 года Жуковский провозгласил: «Жизнь и поэзия — одно».

В 1812 году это было правдой без малейшего поэтического вымысла. Искренность поэтических вдохновений русских поэтов, одушевленных идеей любви к родине и борьбы за ее свободу, измерялась тогда просто: лира тогда вела к мечу. Поэты шли в армию, в ополчение, в партизаны, — и в этом отношении также было порази-

тельное единство общего устремления. Если на войну рвались со школьной скамьи отроки Кюхельбекер и Пушкин, а Рылеев с порога военной школы спешил уже зачислиться в артиллерийский полк, если бежал в действующую армию «архивный юноша» Лажечников, то точно так же поступили «кандидат прав» Грибоедов, отказавшись от испытания на ученую степень «доктора» ради усиленной работы по подготовке кавалерийских резервов, и «доктор философии» А. Перовский, устремившийся в партизанский отряд. Если меняли перо на меч начинающие драматурги Загоскин и Хмельницкий, если уходили в ряды армии молодой профессор русской словесности А. С. Кайсаров и другой ревностный славист Калайдович, то точно так же поступали ведущие писатели эпохи, чьим творчеством определяется ее лицо: Жуковский, Вяземский, Батюшков, Д. Давыдов, Сергей Глинка, Федор Глинка, Шаховской,— все они, обогащая русскую литературу новыми замечательными произведениями, сомкнутым строем вышли и на другой фронт: боевых действий против врага и заслужили на этом фронте военные отличия и награды.

Даже писатели самого старшего поколения — Крылов, Шишков, не действуя непосредственно оружием против врага, принимали тем не менее участие в военных действиях против него: манифесты, писанные Шишковым, и басни, посылаемые Крыловым в армию, Наполеон имел все основания считать за враждебные действия против него,— так же, как раньше рассматривал «Русский вестник» С. Глинки,— как вооруженную вылазку с развернутым знаменем и обнаженным оружием.

Мобилизация русской литературы вокруг единой темы — любви к родине и русских писателей вокруг единого дела — защиты родины и ее свободы — была проведена в 1812 году с неслыханным единодушием и ничем не нарушенной внутренней дисциплиной. Фронт русской литературы, действовавший против Наполеона, был единым фронтом, не знавшим прорывов. Это был особый — литературный — участок общего народного фронта против всемирного завоевателя.

За 130 лет, протекшие с 1812 года, России пришлось вести не мало войн, требовавших большого напряжения государственных сил.



По никогда — ни в одну из войн, бросавших русские войска от Западных Карпат до Восточного Океана и от берегов Балтики до Арарата, — но никогда: ни в Севастопольскую кампанию, ни в восточную войну 1877—1878 года, ни в войну 1914 года — не повторилось той мобилизации литературы, не создалось того единого фронта писателей, борющихся пером и мечом, какой был в 1812 году. Отдельные писатели, в различные войны, брались за оружие словесное и стальное, но то были единичные выступления, не влекшие за собой общей мобилизации, отдельные писательские группы делали попытки сплотиться в отряды с намерением действовать против неприятеля, но из этих небольших и слабых отрядов не слагался единый крепкий фронт, — наоборот, отсутствие общего фронта подчеркивалось произвольным появлением и исчезновением этих слабых и случайных отрядов.

Причина этого явления понятна: в 1812 году была Отечественная война, поднявшая против врага весь народ.

Писатель. — если только он  
Волна, а океан — Россия,  
Не может быть не возмущен,  
Когда возмущена стихия.

*Полонский.*

Отечественная война была только одна — и единый фронт литературы был в русской истории только однажды: в 1812 году.

Этот могучий фронт литературы вновь создавался, с новой, еще большей силой, в грозе и буре новой Отечественной войны 1941—1942 года.

Если в первую Отечественную войну оборона отчизны объединила писателей из разных слоев общества и с весьма различными политическими взглядами, то во вторую Отечественную войну могучий фронт литературы отличается несравненно большей сплоченностью по одному тому, что объединяет граждан единой Советской родины, одушевленных единою мыслью о путях ее политического развития и культурного процветания.

Любовь к родине является единым чувством и устремлением всех советских писателей, на каком бы языке они ни писали и какие бы творческие задачи они себе ни ставили.

Литературная мобилизация писателей в 1941—1942 годах произошла еще повсеместней, еще полнее, чем сто тридцать лет назад.

Тогда не существовало газет, издаваемых в самом боевом огне, в пылу сражения. Теперь такие фронтовые газеты стали общим явлением для всей Красной Армии. Совещания редакционной коллегии происходят на батарее, готовящейся к обстрелу неприятельских позиций. На грузовике помещается походная типография. И если в Тарутинском военном лагере родился «Певец во стане русских воинов», если в боевой обстановке елагал свои строфы Батюшков и писали свои «письма» Федор Глинка и Лажечников, то как перечесть то количество стихов, очерков, рассказов, которые написаны советскими писателями под артиллерийскую канонаду, под воздушной бомбардировкой? Великое, донныне не утраченное, достоинство стихов Жуковского и Батюшкова, писанных о войне, заключается и в том, что они пропахли боевым дымом,—это же доединство присуще стихам и прозе советских писателей, слившихся в глубоком убеждении: «Жизнь и поэзия — одно»: их рифмы обожжены военным огнем, их поэтические ритмы трепещут железными ритмами боя.

Писатели-художники, творцы поэм и романов, они, смотря по боевой нужде, соответственно с заданиями командиров, превращаются в авторов боевых приказов, в составителей военных бюллетеней. Эти поэты и романисты, превратившиеся в работников полкового штаба, могут гордиться своей почетной связью с великим прошлым русской литературы: так автор «Светланы» и «Людмилы», которыми зачитывалась вся Россия, превращался в автора военных репортажей в походной канцелярии Кутузова, а профессор русской словесности А. С. Кайсаров заведывал его походной печатней.

Художественные критики и ученые литературоведы, оторвавшись от своих опытов и научных изысканий, превращаются, на наших глазах, в полезных повседневных работников прифронтовых газет, несущих литературную нагрузку, соответствующую не их специальностям, а нуждам военной тревоги, превращаются в отличных работников военного управления. В Алексее Перовском, талантливом последователе Э.-Т.-А. Гофмана, в

Н. И. Тургеневе, авторе «Опыта теории налогов», оставивших свои научные и литературные труды ради службы по управлению областями, освобожденными от неприятеля, наши современники могут видеть своих славных предшественников по исполнению долга перед родиной.

Фронт пера и фронт меча соединились в первую Отечественную войну в единый фронт. Жуковский и Вяземский сражались под Бородиным в рядах войск и получили военные отличия за это сражение. Молодой поэт А. С. Норов потерял ногу в этом бою, другой поэт — И. А. Петин был тяжело ранен. Шаховской, ставивший в 1813 году пьесу о «Крестьянах», поражающих «незванных гостей», сам принимал участие в боевых действиях под Москвой против этих «гостей». Батюшков, перестроивший в 1812—1813 году свою идиллическую лиру на строй воинственный, был тяжело ранен еще в кампании 1807 года, а в 1813 году получил военное отличие в «битве народов» под Лейпцигом. Поэт И. А. Петин был убит в этой битве. Поэт и историк литературы А. С. Кайсаров пал мертвым в войне за освобождение Германии от Наполеона.

В послании к Жуковскому, писанном в то время, когда русские войска ушли в заграничный поход, неся освобождение Западной Европе, Вяземский называет «счастливым» того, кто

Летит теперь, отмщенем вдохновенный,  
Под знамена карающих дружин<sup>1</sup>.

Это счастье испытали и испытывают многие десятки и сотни советских писателей, своею доброю волей и призывом родины ставшие «под знамена карающих дружин».

Подобно Батюшкову, Загоскину, Норову, Неведомскому, чье участие в войнах с Наполеоном отмечено ранами, подобно Кайсарову и Петину, павшим смертью храбрых в первой Отечественной войне, немало советских писателей запечатлели своей кровью любовь к родине и решительность своего отпора ее врагам.

<sup>1</sup> И. А. Вяземский. Избранные стихотворения. М.-Л., «Academia», 1935, стр. 78.

В сплошной мобилизации советской литературы лучше всего сказывается ее кровная связь с народом, со всей страной.

Литература входит крепким участком в народный фронт обороны.

Так было в 1812 году. Так было в 1941—1942 годах. Так есть в 1943 году,— и с каждым месяцем войны участок этот становится еще крепче, еще опаснее для врага.

Великая боевая традиция русской литературы воплощена в наши дни в героический труд войны, взятый на себя советскими писателями вместе со всем народом.

Труд этот не может не завершиться победой.

Русские писатели 1812 года с гордостью могли указать свою долю, внесенную в этот общенародный труд войны, увенчавшийся победой.

В славный день итога, которым закончится наша великая борьба за жизнь родины, советские писатели, подобно своим предкам по лире и мечу, смогут с такой же законной гордостью указать и на свою долю участия в беспримерной борьбе за «вольность, честь и мир». А пока не наступил этот день итога, лозунгом советских писателей остается старый, оправданный временем, клич Жуковского, вырвавшийся из его уст перед Тарутинским сражением:

Меч во длань!  
Видимай нам, вечный Мегитель!  
За гибель — гибель, брань — за брань!  
И казнь тебе, губитель!



## ОГЛАВЛЕНИЕ

Глава первая . . . . .	3
Глава вторая . . . . .	12
Глава третья . . . . .	29
Глава четвертая . . . . .	39
Глава пятая . . . . .	51
Глава шестая . . . . .	63
Глава седьмая . . . . .	69
Глава восьмая . . . . .	82
Глава девятая . . . . .	92
Глава десятая . . . . .	100
Глава одиннадцатая . . . . .	107
Глава двенадцатая . . . . .	118

Редактор Л. Тимофеев

А 414

Подписана к печати 11/II 1943 г.  
Печ. лист. 7<sup>3/4</sup>, авт. л. 6,24  
Учетно-изд. л. 6,95 Тираж 10.000.  
Цена 3 руб. Зак. 1946

Типография «Искра революции».  
Москва, Филипповский пер., 13.

98

П

Цена 3 руб.

и

✓

191